

ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ

ВСЕ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ

автобиография



Москва 2014

Г83 Григорьев И. Н.

Все перемелется. Автобиография.

– М.: ООО «Сам Полиграфист», 2014. – 96 с.

Автобиография Игоря Николаевича Григорьева (1923-1996) написана в 1991 году, впервые опубликована в книге воспоминаний «ПОЭТ И ВОИН». С верой в непоколебимость добра, Божьей правды, Игорь Григорьев рассказывает о своем детстве, юности, страшных днях Великой Отечественной войны, о дорогих его сердцу людях, о творческом и жизненном пути.

© Григорьев И.Н., 2014

© Onebook.ru, 2014

Игорь Григорьев

ВСЕ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ

...Иго Мое благо, и бремя мое легко.
Евангелие от Матфея

Говорить о себе поэтам вернее, да и честнее всего стихами: в лирике не пустишь пыль в глаза, никуда не денешься от самого себя. Таково уж свойство Поэзии: она — сам человек, взявшийся за перо. Но жизнь — мудреная штука: в ней без прозы не обойтись.

Слава Богу, ни в каких революциях я замешан не был. А все остальное — от безумной коллективизации до пресловутой «перестройки» — испытал на собственной шкуре. И если меня спросить на духу: «Ну и как шкура?», не избежать мне ответа: «Да трещит по всем швам!». Но об этом вы начитаетесь в моих стихах. А сейчас самое время упомянуть об истоках.

Родители моей матушки — Василий Алексеевич и Василиса Яковлевна Лавриковы, крестьяне деревни Сосонье Порховского уезда — имели три борозды земельного надела и четырнадцать детей (я застал только шестерых).

Дедушка был невысок ростом, сух и жилист, мягкого характера, добр и покладист, но строг и непреклонен там, где надо. Как большинство мастеровых людей, при подходе случае не отказывался от хмельного зелья, за что и прилепилась к нему устная фамилия — Мокроус. Однако, если в церкви зарекался не пить определенное время

(обычно год), свято соблюдал зарок. Он всю жизнь плотничал, надорвался на стройке и рано умер.

Бабушка Василиса, по-деревенски Васютка Мокроусиха, была крупна, кротка, весьма недурна собой, обладала ангельским голосом, нежным сердцем и лошадиной силой. Когда у них случился пожар, в котором сгорели дом и конь, она на себе возила из лесу бревно на постройку жилья. Ей ничего не стоило десять верст пронести на закорках подгулявшего в Порхове (и через это обезножившего) супруга своего. Доброта ее не знала границ, и в бедном, очень опрятном доме Мокроусов днем и ночью находили приют и кусок хлеба побирушки и бродяги всех мастей.

Мамина мама была неграмотна, но знала множество сказок, бывальщин, былин и песен, которые исполняла с бесподобным артистизмом. Зимними вечерами скоротать долгое темное время и послушать певунью-говорунью, бывало, являлись и стар, и мал. Приходили на огонек даже из соседних деревень. Глубинную русскую речь моей пра-родительницы густо расцвечивали пословицы, побасенки, присловья и поговорки. Мне думается, что многое из репертуара бабули было сочинено ею же самой.

Василиса Яковлевна погибла в блокадном Ленинграде зимой 1942 года и покоится в братской могиле на Пискаревском кладбище.

Моего прапрадеда по отцу звали Кузьмой, потому что прадед был Дмитрий Кузьмич, — и, к стыду и прискорбию моему, это все, что мне о них известно. А дед, Григорий Дмитриевич, от которого и пошла наша фамилия Григорьевы, — особая статья. И хотя я не застал его, но о нем наслышан. Основатель моего гнезда — Гришина хутора — справный русский мужик, добрый оратай (12 десятин

земли на хуторе, полученных по реформе великого крестьянского заботника П. А. Столыпина), садовод (сад под 150 ульев), кузнец (кузница на большаке в деревне Заозерье), мастеровой и механик (веялки, сеялки, самопряжи, ткацкие станки), мельник (мельница на реке Узе), а также камнетес. До недавнего времени неподалеку от Ситовичей еще лежал, да, возможно, и теперь никуда не подевался огромный валун с глубокой и широкой трещиной посредине. Это его пытался взорвать на жернова мой дед Гриня, да на такую махину порошу не хватило, и жерновых дел мастеру пришлось довольствоваться более мелким каменным матерьялом.

Дорога на хутор и вокруг него, три мостика, осушительные канавы, мочила для льна, сад, рига с гумном, скотный двор, баня, изгородь вдоль леса (все это я помню) находились в полном порядке вплоть до начала новой, колхозной жизни — лиха лихущего, горя горящего.

И все это благолепие было осилено своим горбом, лишь с помощью второй моей бабушки Прасковьи да семерых ее детей — Петра, Тимофея, Николая, Василия, Дмитрия, Анны и Анастасии.

Григорий Дмитриевич не брал в рот спиртного, не трагил время попусту на праздные забавы вроде рыбалки, но был страстным охотником. Он имел пару дорогих ружей и смычок гончих костромичей. Выжлец и выжловка были так хороши, что владелец имения Заозерье Николай Аничкин предлагал за них баснословную цену — по сто червонцев за собаку. Куда там! Мужик и слышать не хотел о продаже. И барин этого не простил.

Однажды, в день Покрова, по первой пороше дед полесовничал в казенном Клину, где охота разрешалась. Гонный заяц, преследуемый собаками, выскочил на барское

поле и понеся по озими. За ним устремился разгоряченный азартом охотник. И вдруг — на конях барин с псарями!

— Григорий Дмитриев сын, кто тебе дозволил топтать мою озимь и гонять зайцев по моей земле?

— Ненароком вышло, Миколай Миколаич...

— Да ты еще и разговариваешь? Эй, доезжачие, влепить ему двадцать пять горячих!

Трое псарей спешили, схватили охотника за руки, свалили наземь и отходили арапниками ни за что ни про что.

Дедушка не проронил ни звука и отправился в уездный суд с челобитной. Он судился с барином целых два года, дошел аж до Сената, но все-таки нашел управу на самодура. А в семнадцатом страшном году скрыл его и уберег от озверевших мужиков, приютил на своем хуторе и помог отправиться в трудную дальнюю дорогу.

Самородок, добряк и гордец дедушка Григорий покоится на погосте Жаборы, где пять лет спустя я был крещен. Там же обрела последний приют и моя любимая бабушка Паша, знахарка и вещунья (могла заговаривать кровь и змеиные укусы, врачевала словом, гадала на бобах, знала целебные тайны трав). Она сочиняла духовные стихи, была большой богомолкой и труженицей, каких поискать.

Таковы мои глубинные корни.

А сам я родился 17 августа 1923 года на хуторе близ деревушки Ситовичи Порховского района Псковской области. От Ситовичей теперь осталась всего-навсего вековая липа, посаженная моим предком Григорием. А когда-то в деревне было дворов тридцать пять. Но радетели колхоза

«Красные Ситовичи» да Великая война уполовинили народонаселение. А совхоз «Полоное», что захватил ситовские угодья, поставил точку — полонил и стер с лица земли последнюю хату, огрызнувшись: «Неперспективка!».

Моя родительница Мария Васильевна в молодости, да и в зрелые годы, статью и ликом была прекрасна. В округе не встречалось ей равных. Замуж она вышла в восемнадцать лет, а к двадцати двум у нее уже были я и брат. Все у юной хозяйки ладилось, до всего доходили ее нежные руки. Мы росли и воспитывались, окруженные материнской заботой и горячей разумной любовью. В большой чести у нас были свобода и самостоятельность.

Спокойная, умная, хозяйственная, доброжелательная и ласковая молодуха-хуторянка считалась любимицей деревни. И жители Ситовичей, когда разразился погром сельщины, избрали ее председателем колхоза.

Папаша был не так наивен — от всех колхозных чинов деликатно отказался и пошел ночным сторожем «общественных» социалистических амбаров, в которых добра было хоть шаром покати.

Лямку «колхозной главы» мама тянула четыре года, вплоть до отъезда нашей семьи под Усть-Лугу, в поселок Котлы.

На хуторе было три избы: наша, батиных сестры Анны и брата Тимофея. Жена Тимофея Григорьевича, милейшая тетушка Ольга, моя няня и радетельница, была портнихой высокого класса. И имела отличный голос. Мама пела тоже очень хорошо. На супрядки собирались рукодельницы певуньи-девушки из Ситовичей, благо хутор был близехонько; приходил большой любитель пения хворый Иван, по прозвищу Комиссар; нередко из подол-

гу у нас гостила на хуторе гостила немка из Пскова, танте¹ Эмилия, тоже прима-певица, моя первая учительница немецкого языка. Эмилия Фердинандовна, прозванная мною «Дер шток», была дамой добродушнейшей, но, когда я озорничал, утихомиривала меня фразой: «Во ист дер шток?»².

А на супрядках между тем зажигали большую пятнадцатилинейную лампу (редкость по тем временам), все садились за работу и пели. Да как пели! Наверное, годов с двух я без памяти влюбился в русскую песню, перед которой и сейчас преклоняюсь. Особенно когда наши песни и романсы исполняют такие чародеи, как Борис Штоколов, Николай Гедда, Людмила Зыкина.

О вечера на Гришином хуторе!..

За плечами моей матушки долгий, трудный и светлый путь, путь правды, совести и чести. Разве обо всем поведаешь...

Мать живет со мной. И нынче, в свои восемьдесят семь лет, она солнечна лицом, обаятельна, шустра, обходительна и гостеприимна (многие писатели, да и не только они, знают это и не забывают хлебосольную хозяйку). От нее не услышишь и полжалобы (а житье со мной — не мед). Всё ей ладно и складно, все — хороши. Она — неустанная работунья: все домашнее хозяйство лежит на ней. Мама считает меня мальчишкой и жалеет до самозабвения. Я обожаю ее и, целуя дорогую седую головушку и золотые рученьки, уверяю себя и вас: «Без матушки как без рук!». Да продлит Всевышний дни ее!

Но вернемся на Гришин хутор.

¹ Тетя (нем.).

² Где палка? (нем.)

Большенный, похожий на гумно пятистенок деда стоял в полуверсте от деревни, на самом краю леса, именуемого Клин. От Клина — древнего драгоценного дара природы, разросшегося на двадцать квадратных верст, — теперь остались рожки да ножки. Вместо вековых елей, берез и осин там расплодились серый олешиник, черемушник, волчья ягода да непролазный подлесок. Стало здесь пусто — ни зверей, ни птиц, ни ягод, ни грибов.

А что это было за чудо — лес Клин — еще в мою мальчишескую пору! На верхотуре могучих елин гнездились соколы, канюки, тетереватыники, иные мелкие ястребы, вороны, клесты; в осиновых дуплах жили филины-неясыти, желны, вертишейки и, пожалуй, лешие (случалось мне по ночам слышать отголоски их шабаша); в стене черных ольх за речкой Гусачкой ютились постоянные жильцы — эхо и немой призрак (сам однажды видел); в кустах проживало множество птичьей мелюзги — коньков, лазоревков, корольков, поползней, дроздов, иволг, зарянок... Водились тут и косули, и летяги, и мышловки-сони, и ласки, и горностаи, и выдры (по рекам), и находили приют змеи — множество гадюк, которых я нисколько не боялся и не жалел.

По деревьям я лазал не хуже векши и знал множество птичьих гнезд, разорять которые в нашей семье считалось большим грехом. Однажды, взобравшись на обессученную старостью высоченную елку, на верхотуре которой было ястребиное гнездо, а в гнезде два крупных пушистых птенца, я пытался кормить их черничным пирогом. И тут меня атаковали рассвирепевшие родители-тетереватыники. Они расшматовали на мне рубаху и штаны, поцарапали и поклевали спину, после чего сбросили на землю. Метров с двадцати, если не выше, я летел вниз и жажнулся мягким местом в мох.

Наш Клин окружали три колыбели моего детства — река Уза, речка Веретенка и речушка Гусачка. Это они напоили мою Музу живой водой. Лес да речки (больших рек не люблю) всегда были моим вторым домом. И доньше мы с лесом и водью «на ты».

И хотя в Ситовичах я прожил всего одиннадцать изначальных лет, отпущено здесь мне было столько, что не истратить и за всю жизнь. Гришин хутор и все, что его окружало, — родители и родня, первая школьная учительница Зоя Ивановна, мужики и бабы, вдохновенный труд тогда еще на своей земле, жаркие престольные праздники, незамутненная варваризмами и аббревиатурами русская речь, вера в Бога, неколебимая в моей душе, — было началом всех начал, первой вехой на моем крутом, но безусловно счастливом пути.

Годков с четырех с мальчишками, а то и без них, бегал на Гусачку и Веретенку ловить решетом вьюнов и гольцов, наведывался на Узу за раками, ходил в Клин по грибы и по ягоды, которых нарастало навалом.

Пяти лет от роду, выученный двоюродной сестрой Катей азбуке, я прочитал в сборнике Ивана Бунина стихотворение «Листопад»:

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца...

Это поразило: ведь именно так и было в нашем лесу!.. А назавтра вечером я отбывал наказание — стоял в углу за своеволие (спозаранку сбежал на реку Узу ловить раков: километра четыре туда, столько же обратно да вдоль берега сколько; и все лесом, по лесу, в лесу — благодать!). В этом самом углу, от переполнившей радости и нахлынувшей обиды, на меня и «нашло»: я сложил свое первое «Стихотворение про синюю речку и рыжую тетку». Не знаю, почему «рыжую». Ведь милейшая тетушка Оля, моя вторая мама, не была рыжей. Ее коротко остриженные волосы имели серебристо-льняной цвет от природы и ранней седины, а курносое, с очками в роговой оправе лицо было бронзоватым от загара и лучилось светом ее большой русской души. Видно, это для красного словца сочинилось с пылу с жару. Но упрекать меня не стоит: ведь тогда я не имел никакого представления о художественном вымысле. Наитие! От того первосочинения осталось в памяти:

Речка синяя моя,
Без тебя как без рук я!
Ольга рыжа, что лиса,
На носу два колеса.

С того и началось.

Сеструха Катюша научила меня не только чтению и письму, но привила любовь к книге и неутолимую жажду Поэзии. Она была моей первой слушательницей и поэтической наставницей, ибо знала толк в стихах и сама их сочиняла.

В конце двадцатых годов Катя выиграла по лотерейному билету «Библиотеку русских классиков» — сто книг. И все их подарила мне. Я зачитывался «Медным всадни-

ком», «Мцыри», «Коробейниками», «Светланой», «Соловьиным садом», лирикой Афанасия Фета, песнями Алексея Кольцова, одами Гавриила Державина, стихотворениями Аполлона Майкова, Федора Тютчева, Алексея Толстого, Ивана Бунина.

Однажды во время летних ливней я было утоп. Екатерина Тимофеевна отыскала меня на дне Веретенки и откачала.

Весной и летом 1944 года, чуть ли не ежедневно, она ходила ко мне в ленинградский военный госпиталь и проносила колбасу, шоколад, фрукты... И только потом, когда ее уже не стало, я узнал, чего ей стоили эти дары: она их приобретала за сданную кровь свою. Да будет ей пухом земля!

В конце двадцатых и начале тридцатых годов на хутор к Анне Григорьевой, одинокой старой деде, каждое лето приезжала из Ленинграда ее сестра Анастасия Григорьевна, или тетя Тася, врач «Большого дома». С нею были дочь Лиля и сын Алеша, почти мои ровесники. Тетя Тася привозила много детских книжек, больше стихов, из которых каждый вечер декламировала нам. Из прозы помню лишь «Приключения барона Мюнхгаузена». (Но эти «приключения» я уже знал: тante Эмилия читала их мне на немецком языке до встречи с русским переводом.)

Все привезенные книги являлись советскими изданиями. Из них мне врезались в память «Крокодил», «Мойдодыр» и «Муха-цокотуха».

17 августа 1929 года, в день моего шестилетия, тетя Тася поднесла мне кружку вишневого варенья и две размалеванные книжицы. Я сидел под большой березой, уpletал варенье и наслаждался подаренными стихами:

Жил в Камаринском селе
Бедный мужичок.
Все богатство у него —
Беленький бычок.
Далеко среди лесов
Жило семь воров.
А у тех семи воров
Было семь коров.
Семь коров без молочка —
Не было бычка.
Раз забрался ночью вор
К мужичку во двор.
Вор украл у мужичка
Белого бычка.
— У воров теперь бычок! —
Плачет мужичок...
Не понравилось бычку
У лесных воров:
Заскучал, пошел домой
И увел коров.
Рад бычок был мужичку,
Мужичок — бычку.
В пляс пустился мужичок,
Закрутил усы,
Нацепил бычку звонок,
А себе — часы.
Дом, коровы и бычок —
Счастлив мужичок!

Это была «сказка про белого бычка». Власть насладившись вместе с мужичком и бычком, я взялся за вторую книжку. Называлась она, если не ошибаюсь, «Колбасный цех». Производственная, так сказать, лирика. На первой странице этого «Цеха» был изображен здоровущий дядя в фартуке, спрятавший за спину почему-то красную руку

с огромным ножиком-свинорезом. Другой рукой он чесал за ухом у толстой и очень симпатичной хавроньи. Под рисунком крупными буквами были напечатаны такие стихи:

Почешут, понежат.
Ложится свинья,
Потом ее режут
Ножом остря...

В марте 1991 года (далеко не впервые) по первой программе Всесоюзного радио пара борзых актеров лихо исполняла «Муху-цокотуху» дедушки Корнея Чуковского. Из репродуктора гремело двусмысленное двугласие:

Вдруг какой-то старичок-паучок
Нашу муху в уголок поволок...

Мне невольно вспомнилась несчастная хрюшка из детской книжки двадцатых годов и как

Потом ее режут
Ножом остря.

Где-то в третьем классе тяга к сочинительству сделалась во мне такой беспокойной, что целых два месяца — сентябрь и октябрь — после школы я убежал в лес и писал там стихи. Писал с натуры, стараясь изобразить словами осеннее великолепие. У меня не получалось ничего путного, и я плакал сиротливо под пылающим багряным кустом. Потом, нагоревшись, снова брался за карандаш — награду за стихотворение в школьной стенгазете. Премия за стихи! Как тут было удержаться от искушения вообразить себя поэтом?..

С годами стихотворческие приступы не проходили, но повторялись все чаще — больше всего осенью. Они, хвала

провидению, и посеичас тревожат сердце. Осень и теперь — самая плодотворная и любимая моя пора.

В мае 1934 года я получил «Свидетельство об окончании Веретенской сельской школы первой ступени» (4 класса). Оценки по всем предметам стояли «оч. хор.», а вот поведение — «уд.». Этим же летом мама увезла меня в Котлы, где уже поселилась наша семья. Первоначальный период моего житья-бытья закончился.

Мое детство и отрочество в Ситовичах были окружены любящими и любимыми людьми и благодатной природой. И с хутором я расставался горестно. Да, если признаться, я и ныне не перестал вздыхать о нем, как о минувшей первой любви.

Котлы — приграничный военизированный поселок с аэродромом, стройбатом, пограничниками и военными моряками — встретили меня ревом истребителей, фырчаньем грузовиков, пеньем марширующих матросов и эстонской скороговоркой (изрядную долю местного населения составляли эсты да ижоры). Речь здешних русских тоже отличалась от моей: тут не говорили «чаво, рябяты, куды,мень, стрекава, баркан», но — «чиво, рибята, куда, налим, крапива, морковка». Я был ошарашен непривычной действительностью: увиденное и услышанное мне казалось диким.

В Котлах родители снимали полдома в Малом Конце (был там и Большой Конец) у хороших людей, Ефима и Евфросиньи Спиридоновых. У них был сын Вася, с которым я в первый же день своего новоселья крепко сдружился.

Новый приятель перезнакомил меня с местными мальчишками, двое из них — мои одноклассники Федор Каменский и Виктор Рябов, вполне самостоятельные человеки, боль-

шие вольники, певуны и удильщики — стали моими задушевными корешами. Рано повзрослевшие добытчики средств к существованию (у Феди отец был казнен в 37-м, у Вити — находился в нетях) не могли не вызвать моего сочувствия. Я и сейчас вспоминаю их с братской привязанностью.

До нового местожительства мы с мамой добрались в полдень. А ближе к вечеру отец повел нас на речку, которая протекала в трех километрах от Котлов. Господи, что это был за подарок мне — река Сума! Открытие и откровение, красота и ласка, колдовская песня, бесконечно близкое живое существо, которое с первой же встречи так глубоко проникло в душу, что я едва не тронулся от радости.

Мы купались в Митькиной яме, глубочайшем омуте в устье Кривого ручья (Кару сари — «Медвежьего ручья» — по-эстонски). В ручье бежала прозрачная, как роса, родниковая водица и водилась прекрасная форель, второе имя которой ей больше соответствовало — красуля. Позднее я вылавливал ее десятками.

Всю ночь я не мог уснуть от переполнивших меня впечатлений и сочинял стихи о счастье.

В первый же выходной, чуть свет, отец увел меня удить форель на далекую Толдовку — угрюмоватую каменистую ледяной воды речку в диком сосновом бору (тогда еще не перевелись дикие, а точнее, диковинные места на земле нашей). И я опять причастился благодати.

Время ушло уже далеко за полдень, солнце не жгло, а ласково грело. Речка переливалась нежнейшей августовской голубенью и радужными солнечными бликами. На перека-те играли крупные форелины. Лес дремал, источая дух живицы и хвои, а заросли прибрежной таволги и сурепки истекали дурнопьяном и медом. Как же хорошо здесь было!

Я сидел на плоском валуне и глядел на поплавок, крутящийся и подпрыгивающий в водоворотце. Две очень большие форели уже сокрушили мою леску в шесть конских волосков, и я был начеку. Вдруг позади меня что-то прошелестело, потом кто-то живой стал тереться о спину. Я оглянулся и не поверил глазам: медвежонок! Был он ростом с небольшую собачонку и нисколько не боялся меня. Лохматый малыш бесцеремонно забрался ко мне на колени и тихонько заскулил. Я почесал у него за ухом и в ответ услышал что-то вроде умиротворенного похрюкивания. Дал зверенышу кусок хлеба с вареньем. Тот, не отнекиваясь, съел подачку и облизнулся. И тут!.. у переката раздался предостерегающий рев, и медведица, ростом с сенную копну, заковыляла ко мне. Вопя благим голосом, я пустился к отцу, который рыбачил за поворотом. Глупый медвежонок увязался за мной, думая, что с ним играют. Сзади сотрясала землю разгневанная его мамаша.

Отец, увидев и уразумев опасность, нависшую надо мной, бросился навстречу медведице, предварительно отогнав от меня медвежонка. В его руке сверкнул охотничий нож.

— Беги к стогу, отвяжи Полаза!.. (Гончара мы взяли с собой для разминки. Но к вечеру, чтобы не остался гонять в ночь, привязали у стога.)

Вовремя подоспел пес. Отец крутился вокруг толстой сосны, а разъяренная медведица, поднявшись на дыбы, старалась запустить в него когти. Полаз вцепился в ляжку зверюги, и это спасло отца.

В конце концов, медведица не устояла: отбиваясь от наседавшей собаки и гоня перед собой медвежонка, она перебралась через речку и скрылась в мачтовом сосняке.

А мне было страшновато и любо. И я, совсем некстати, подумал вслух:

— Увидь такое сам Иван Шишкин, наверно, написал бы новую картину — «Вечер в сосновом лесу». У него бы получилось еще как!

Возвращались из похода мы уже в потемках. У дома отец остановил меня:

— Рыбалка была что надо!.. Знаешь, давай не скажем мамке про медведицу, а то еще на Толдовку не отпустит.

— А Полаз? Мама ведь догадается, что тут что-то не так: у него же губа разорвана и шкура на боку спущена.

— Пса, конечно, жалко: досталось ему на орехи. Ну да ничего, подлечим. Заживет. А в лесу мало ли с кем он сражился, поди узнай.

— Твоя правда, батя.

Прошу познакомиться с ним.

Отец мой был человеком глубоко русским, незаурядным, странным и трагическим, словом — личностью.

В Первую мировую войну унтер-офицер Николай Григорьев показал себя храбрым воином. В одной из атак ротный был убит, и тогда роту повел отец. Наши пошли врукопашную, взяли немецкие укрепления, захватили три артиллерийские батареи и больше сотни пленных. В том бою отца тяжело ранило. И Георгиевский крест украсил его простреленную грудь.

После лазарета в Москве отца произвели в офицеры и назначили командиром роты в войска генерала Алексея Брусилова. И снова он отличился летом 1916 года в Брусиловском прорыве, был вторично ранен и демобилизован.

Стихи родитель мой любил до самозабвения, знал их множество и недурно читал наизусть. Особенно читал по-

этов Афанасия Фета, Алексея Толстого и Семена Надсона. Сочинять, по его словам, пристрастился смолоду. В 1916 году в Варшаве вышла небольшая книжка «Николай Григорьев. Стихотворения». Автору было тогда двадцать девять лет. Одно стихотворение из этого сборника отец почему-то любил больше других и иногда читал мне его, особенно на рыбалке ночью у костра. А вообще он никогда не афишировал своих произведений, хотя было их написано с дюжину толстых тетрадей в кожаных переплетках.

Светлана, дочь моей любимой двоюродной сестры Екатерины Тимофеевны, пишет, что Николай Григорьев был автором нескольких поэм:

«Я очень благодарна матери, что она много рассказывала, всегда с неизменной симпатией, о своих родных (о тебе особенно много), и дядю Николая я тоже очень живо представляю именно благодаря ее рассказам и чтению наизусть его народных поэм».

Спасибо, дорогая Света, за добрую память! Я знал лишь об одной поэме отца — «Коммунисты, Бог и дьявол», сочиненной им в Котлах летом 1936 года.

Стихи отца в толстых тетрадях погибли в пожаре Великой Отечественной. Но я помню любимое детище Николая Григорьева и дорожу им как частью души близкого и родного мне человека, поэта, которому не улыбнулась Муза. Вот оно:

Я вышел на улицу утром вчера —
Чуть лилися струи рассвета.
Повсюду уж осени скучной пора
Сменила отрадное лето.
Мороз серебристую ткань на земле
Соткал. И уныло глядели

Деревья в холодно-недвижимой мгле,
И листья на них онемели.
Над сумрачным лесом, в туманной дали,
Поднявшись в небо высоко,
Неслись, без умолку крича, журавли
Куда-то далеко-далеко.

Если бы душа твоя порадовалась моим воспоминаниям, батя мой дорогой! Ведь было бы безбожно с моей стороны не помянуть тебя добрым словом: и должник я твой вечный, и кто же, если не я, нынче помянет и оплачет тебя?

Родители мало донимали меня и брата опекой. Мать, бывало, еще поворчит, стараясь приструнить, когда мы уж очень разбаловывались: ну там, в колхозный сад заберемся, или без дозволения сутки-другие проведем на речке, или подеремся до крови, — мать пожурит. А отец только усмехнется.

Однажды, когда меня крепко поколотили старшекласники, я пожаловался отцу.

— Упаси тебя Бог обидеть слабого. А сильному обидчику дай сдачи. А не можешь — сумей отстать, не празднуя труса при этом. Но не ябедничай: дохлое это дело. Понял?

Реки и речки: Сума, Толдовка, Систа, Кямишь, Святая; озера: Глубокое и Бабинское — заполонили душу и плоть мою.

Река Сума была заглавной среди них, «самой-самой». Она текла в довольно глубокой впадине, по неширокой луговой пойме, окруженной ласковым смешанным лесом. Километров через пять, сделав большую петлю, приняв Толдовку и несколько ручьев, поздоровевшая Сума направлялась в обратную сторону, пока не впадала в бы-

струю лососевую Систу. Верхнее и нижнее русла — Первая речка и Вторая — бежали почти параллельно: одна — вперед, другая — назад. И было от Первой до Второй рукой подать.

Светловодная, скорая на перекатах, извилистая, со множеством омутов (да еще какой глубины!), река затравела на мелководьях, которые мы переходили вброд.

Сколько же разной рыбы было в Суме! В ее верховье (куда мы с отцом нередко навещались) водились форели и хариусы, а осенью сюда заходили лососи. Ближе к устью гуляли стаи язей. Веснами почти на каждую донку садилось по налиму. А летом мы удили щук и окуней, плотву и ельцов. Нередко на крючок попадались и крупные рыбины. Однажды отец поймал на блесну щуку в полшуда весом, а мой друг Витя Рябов подсек двухкилограммовую плотву: в магазине, где ее взвешивали, не хотели поверить! А какие раки таились в береговых норах и корнях: не замухрышки-семечки — лапти! И столько малины было в прибрежных зарослях, особенно на Второй речке!

Немудрено, что три месяца летних каникул (почти каждый Божий день, да и ночей сколько!) я проводил на рыбалке.

Чего тут не приключалось!

Как-то взял меня батя на рыбалку с ночлегом. Обосновались на Митькиной яме: тут и форели поклевывали, да и другие обитатели трехсаженного вира не брезговали нашими червяками-выползками. Сидим, значит, у костра, пьем смородинный чай, вслушиваемся в беспокойные звуки ночи и ожидаем зарю. Косматый туман пошевеливается за рекой, сизый дым трепыхается и стелется над Кривым ручьем. Месяц-ветух полуосвещает белесую зем-

лю, иссиня-темную стену ельника и переполненную грозой черную тучу... Проползает десятка два тягостных минут. Темнота сгущается, переходит в тьму крошечную. Ночные бормотания и перешептывания замирают, уступая власть мертвой тишине, тягучей и тревожной. Неожиданно в этом заколдованном царстве блестит ослепительно лиловый зигзаг. Вослед ему — пушечный треск такой силы, что в ушах у меня застревает колотье, переходящее в свистозвон. И пошло: заревел ветер, застонал ельник, завсхлипывало небо, загрохотала тьма. И обрушился ливень.

Мы сиганули в лес и там укрылись под густой елкой. Другой такой грозы я не припомню. Польшало, лило и гремело часа три подряд. И вдруг в полусотне шагов от нашего убежища из ничего возник светящийся ком. Мне показалось, что кто-то идет с зажженной «летучей мышью». Что за чудак вздумал бродить в такую непогодь и тьму, пусть и с фонарем, по лесу? «Фонарь» небыстро двигался в нашу сторону, то опускаясь почти до земли, то поднимаясь на несколько метров над землей.

— Батя, батя! Гляди! Кто это такой идет к нам с фонарем?

— Кажись, шаровая молния пожаловала. Стой, не дергайся.

Диковинка была почти рядом.

— Замри! — спокойно приказал отец.

Огненная штука проплыла в двух шагах от нас. Она и впрямь была похожа на зажженный фонарь «летучая мышь». Контуры ее были размазанными, нечеткими, матово-красно-лилового цвета. Она часто и однотонно потрыкивала: «Трык-трык-трык!..». Плыла «дочь грозы» медлительно, иногда останавливаясь и вращаясь вокруг себя.

На наших глазах небесная бестия уперлась в ель, как бы силясь спихнуть преграду со своего шалого пути. Из такого противоборства, знамо дело, не могло выйти ничего путного. Раздался ужасающий взрыв — будто рвануло вагон тола (мне в войну случалось быть слушателем таких взрывов: очень похоже).

Дерево в два обхвата толщиной было срублено под корень и стало ворохом щепок. Мы тоже рухнули в мох, но отлежались, поднялись и отправились продолжать прерванную рыбалку, благо утро уже наступило и дождь переставал.

А вот еще такое происшествие стоит перед глазами. Батя и я удили окуней на Поповой яме. Подходящий это омуток: и глубина, по заключению огольцов, «ого!» — не всяк нырлящик дно доставал (по себе знаю), и окуни там жили тоже «ого!» — «горбыли»!

Неподалеку от нас, в молодой отаве уже скошенного приречного луга, паслось стадо деревни Рятель (в те поры крестьяне еще имели обыкновение держать коров). Буренки пощипывали себе травку, а мы то и дело подсекали полосатых красноперых рыбех. Кругом солнышко, затишье, умиротворение и еще что-то неизъяснимое, чистое и возвышенное, завораживающее душу и наполняющее ее верой и любовью. Наверно, это и было счастье, а может, и сама Божья благодать.

Сами собой, легко и складно, роились рифмы, вязались в стихи, переполняя меня лихорадочным восторгом. Их бы записать с пылу с жару, да где там: поплавок ныряет, удилище сгибается в дугу и колючий «горбыль» брыкается у меня в руках. Клюет! До карандаша ли тут.

— Ничего окунек, — батя «полегал» добычу, — фунта с два потянет...

Его слова перебил истошный человеческий крик. За воплем раздалось жалобное мычание перепуганных коровенок, вслед которому прокатилось трубное, страшенной злобы, муканье быка. Огромный бугай швырял и подбрасывал на рожищах пастуха.

Отец схватил горящую в костре валежину и крупным скоком рванулся на помощь. Кое-как он отбил бедного дедка у расвирепевшего скота, взвалил раненого на плечи и, отмахиваясь от обезумевшей животины дымной головешкой, стал отступать к реке. Добравшись до берега, батя бросился в воду. Я — за ним.

Бык в реку не полез, но сокрушил наши удочки, корзинки с добычей, банки с червяками и другие манатки. Но нам было не до манаток: мы волокли тяжело раненого пастуха на шоссеиную дорогу, чтобы на попутке отправить в Котлы, в больницу...

Страшные случаи быстро забывались и моего ребячьего пыла ничуть не охлаждали. Все кругом и около было своим, родным, дорогим. Чего тут было бояться!.. Спустя два года, перейдя в седьмой класс, я так узнал Суму и так настропался удить, что в этом деле мог потягаться хоть с кем.

Но не один голый азарт рыбалки гнал меня на любимую речку. Не одни только поплавки видел я перед собой в прекрасных омутах Сумы. Закаты и восходы, ночи и дни, прибрежные луга и лесные гривы, часы полного одиночества и ватага верных друзей-огольцов — становились неотъемлемой частью бытия, творили во мне Человека, будили жажду Жизни, Поэзии и Отдачи.

В первый день осени 1934 года я стал пятиклассником Котельской средней школы, где и проучился без малого три года — до весенних каникул 37-го.

Школа наша помещалась в великолепном особняке, можно смело сказать — дворце. Здесь когда-то было старинное дворянское гнездо: на фронтоне значилась дата постройки — «1837». Двухэтажное здание с колоннами, флигелями и парадным подъездом стояло на вершине довольно крутого склона. А по склону лет сто тому назад, если не все двести, старыми хозяевами имения был разбит большой парк из вековых лип, кленов и ясеней, в тридцатых годах XX столетия побитый и заброшенный «молодыми хозяевами земли», которые «покоряли пространство и время».

Учился в Котлах я не ахти как: не хуже, да и не лучше многих ребят. Школа была как школа, педагоги — люди как люди, кроме одного — учителя немецкого языка.

На первом же уроке, когда Фридрих Августович прочитал нам по учебник): «Ди фабрикен раухен»¹, я возразил:

— Раухен ферботен!²

— Во канет ду дойч?³ - спросил учитель.

— Их зельбет вайсс ниht, лерер⁴.

После уроков немец привел меня к себе и познакомил с домочадцами — женой, дочерью и сынишкой. Все трое совсем не умели говорить по-нашему. И я стал их учителем русского и, одновременно, учеником немецкого.

Фридрих Августович Гельманн, немецкий коммунист, поклонник ВКП(б) и друг красной Москвы, бежал вместе с семьей из проклятой нацистской Германии в страну, «где так вольно дышит человек».

Прошло месяца два-три, и я всем сердцем привязался

¹ Фабрики дымят (нем.).

² Куриль воспрещается! (нем.)

³ Откуда ты знаешь немецкий? (нем.)

⁴ Я сам не знаю, учитель (нем.).

к «нашему немцу», как его окрестили школьники. Да и учитель относился ко мне по-свойски. Это был редкостный человек — мудрый, повидавший многие страны мира, крепко образованный, сердобольный, прямой и простой. И наставник настоящий. К тому же он отлично знал русский язык и писал хорошие стихи на немецком.

Сколько немецких книг я перечитал в доме учителя! Сколько народных песен услышал! (По вечерам супруги Гельманны частенько — и так голосисто, так слаженно и трогательно! — пели.)

Как сейчас вижу его кругловатое скуластое лицо с широким лбом и черными грустными глазами, его короткие усы «бланже», невысокую коренастую, слегка кривоногую фигуру. И добрую, чуть насмешливую улыбку. И слышу голос, доверительно-ласковый, негромкий, поокивающий:

— Милая Мария Васильевна, ваш сынок, мой ученик Игор — порядочный малый, но у него есть одна болезнь — ленус. Из уроков он только и знает русский да немецкий. Но зато какой ребенок, к тому же поэт!..

Слышать эти речи мне было хотя и стыдновато, но весьма приятно.

В радости, мире и вольности незаметно промелькнули три лета и три зимы.

Подкрадывался гнусный 1937-й — год кровохлёб, год людоед. Господи, какого произвола пришлось мне быть свидетелем!

Фридриха Августовича, его жену и детей, семи и пятнадцать лет, обвинили в шпионаже и прикончили. Батек почти всех моих приятелей посадили и вскоре расстреляли.

Многих из них я знал: это были простые люди — кре-

стьяне, рабочие, русские, эстонцы, ижоры... Я ломал голову и не мог уразуметь: как это самый что ни на есть народ стал «врагом народа»?

И тут страшная чаша недоумения, страха и жалости переполнилась. Вот что было последней каплей.

В нашем доме жил бывший священник, девяностолетний отец Иван. Он учил меня добру и смирению, рассказывал о старом времени, давал читать интересные — не запрещенные — книги, помогал, чем мог. И лишь иногда, глядя в пол и протягивая деньги, почти умолял:

— Сыняше, принеси мне лекарство от всех скорбей!..

Я отправлялся в железнодорожный магазин и покупал там бутылку «московской», которая стоила тогда шесть рублей...

Еще полгода тому назад мама и папа вдруг «не сошлись характерами» и расстались. Сказав матери на прощанье: «Будь благополучна, дорогая!» — и земно поклонившись, отец забрал брата Льва и гончара Полаза и насовсем уехал под Псков, в поселок Плюсса. Я остался с мамой...

Было утро первого дня весенних каникул. Отчим и мать уехали на работу. Разбуженный шумом и суматохой, я выглянул за дверь. А там!.. В сенях два мента за волосья волокли отца Ивана. Начальник со «шпалой» в петлицах держал несчастного за сивую бороду и погано ругался. Священник не сопротивлялся и молчал.

Я заплакал:

— Товарищ капитан, дяденька начальник, не надо! Пожалейте дедушку. Он совсем старый и никому не сделал никакого зла!

Но меня будто не слышали. Тогда я попытался силком освободить бороду батюшки, вцепился зубами в пятерню изверга. Товарищ капитан завизжал, повернул меня спи-

ной к себе и изо всей мочи хватил носком хромового сапога под зад. Я отлетел за дверь нашей комнаты, сплюнул кровавую лепешку и бросился в угол, где стояла большая прутьяная корзина. Там лежал «ТТ» отчима (тогда офицеры имели личное оружие).

— Руки вверх, гады! — заорал я, махая пистолетом.

Начальника и его менгов как ветром сдуло. Трясаясь и захлебываясь от слез, я наклонился над отцом Иваном. Дедушка был мертвый.

Скандалная вышла история, да и мал я был тогда, поэтому меня не тронули, но «посоветовали» держать язык за зубами и убираться из Котлов, куда глаза глядят. Мне не оставалось ничего другого, как отправиться вслед за отцом, подальше от греха: с властями в то безвременье шутки был плохи. Кстати сказать, отчима «за халатное отношение к оружию» исключили из рядов ВКП(б) и убрали из Котлов — перевели в военный городок Гора Валдай, базу форта Красная Горка.

Отроческий период моей жизни, такой животрепещущей и благополучной, закончился горьким горем: в начале апреля 1937 года я простился с матерью, с друзьями, с рекой Сумой и переселился на Псковщину, где предстояло вкусить самостоятельной жизни и провести семь лет.

Избушка наша в поселке Плюсса (Совхозная улица, дом 8) упиралась в кочковатое закустаренное болото, из которого вытекал ручей, превращенный в глубокую канавину. (В войну в этой щели мы прятались от бомб. Возможно, кто-то занедоумевает: «Как это прятаться в канаверучье? Ведь там же вода и грязь». Поскольку дело это бывалое, поясню: когда с неба, чуть ли не на голову, сыплются бомбы — грязь в убежище, а тем более вода не в счет. И не в такую дыру залез бы, кабы подвернулась!..)

Но до войны еще целых четыре года, поэтому пребудем в мире и войдем в наше жилище. Две клетушки о трех оконцах, двадцать квадратных шагов жилплощади — пять в длину, четыре в ширину — вот что такое наша избушка. В кухне было одно окошко, большая плита справа, помост из досок у задней стенки — моя и братова постель, колченогий стол, скамейка и три табуретки. В спальне — письменный стол, железная кровать отца и пара стульев.

Когда-то в этом строении находилась сушилка. Но мы в сушении не нуждались, ибо и так были довольно сухи благодаря тогдашним харчам. Жили по принципу: не до жиру, быть бы живу. С нами на равных проживали два славных существа — высоких кровей гончар, англорусский выжлец Полаз и крупнуший, с полпса ростом, полосатый кот Касьян, который нередко приносил в дом то зайца, почему-то черного цвета, то тетерку белого пера, то еще чего съестного.

Теперешняя Плюсса, в которой поселилось множество сельских беглецов двух тогдашних районов — Плюского и Лядского, не идет и в какое сравнение с Плюссой моей юности. Тогда это был ухоженный поселок с населением под две тысячи душ (сейчас тысяч семь человек). Железнодорожный вокзал, три магазина, столовая, казенка, пивная, даже церковь (наглухо заколоченная) были бревенчатыми. Каменных строений имелось только два — Белая школа, где учились первые-шестые классы (бывший помещичий дом) и пожарка. Да и здешние улицы можно было на пальцах пересчитать — не больше пятнадцати значилось их в райцентре.

Почти все плюссичи знали друг друга и относились один к другому доверчиво и доброжелательно, по-русски простецки и задушевно. Разные у всех были характеры и

судьбы, но добрые люди умудрялись жить в мире и согласии, будто большая ладная семья.

Имелись в Плюссе люди особенно почтенные, знаменитые на весь район, а то и дальше. Не партфункционеры, не совкраснобаи, но великие труженики, мастера золотые руки, чудодеи-умельцы — творцы всех статей. Упоминаю граждан, особенно чтимых.

Николай Петрович Богданов — «Коля Могель»: тот, кто может. И действительно, чего только не умел он и чего только не мог. Любое дело, за которое брался этот стройный сухощавый красавец с белой повязкой на правом глазу, ему удавалось на славу — хоть земледелие, хоть механика, хоть торговля, хоть еще что. Он был закоперщиком многих новых начинаний, которые обязательно доводил до благополучного конца. В Плюссе его еще величали заводилой.

Я и нынче дружу с милыми дочерьми Николая Петровича — Людмилой и Ларисой.

Константин Константинович Лапин, учитель химии и биологии, наш строгий и благородный «Кассин Кассинич». Высокий, костлявый, лысый, горбоносый и больше ротый человек этот светился светом, который может излучать лишь чистая неподкупная совесть.

Меня к нему притягивало, как гвоздь к магниту. В судьбе моей он принял отеческое участие и сыграл важную роль, о чем ниже расскажу...

Был Константин Лапин хозяином, каких поискать, образованнейшим педагогом, глубоким и тонким знатоком человека, врачом телесных и душевных недугов наших, мудрецом и непререкаемым авторитетом в поселке.

Иван Михайлович Воронцов — «Вася Сазоновский», плотник самого высокого класса, столяр-краснодеревщик, денный и ночный труженик (я всегда ломал голову: когда же он отдыхает?), могучий человек, умница и балагур. Иван Воронцов был плотен и мускулист, рыжеват, имел крупный, с большой горбинкой нос, жилистые руки, которые, за что ни брались, все делали добротнo. Глаза у него были синие, наивные, совершенно детские, не замутненные ни злым умыслом, ни корыстным поступком. Я дружил с его сыном Сергеем, парнем лихим и озорным, но очень добрым, жалостливым и сердечным. Сережа погиб на передовой в блокадном Ленинграде.

А в дяди-Ванину дочь Раю, мою ровесницу и одноклассницу, я влюбился с первого взгляда аж в 1937 году. Мы и сейчас с Раисой Ивановной остаемся настоящими друзьями.

Не одну дюжину добротных домов в Плюссе поставил и отделал почтенный Иван Михайлович Воронцов. И за всю жизнь не навредил ни одному человеку.

Дмитрий Григорьевич Жуков, атлет и борец, уложивший на обе лопатки не одну знаменитость. Ему ничего не стоило без роздыха пронести двенадцатипудовый тюк от вокзала до склада на рынке, где он работал заведующим, — расстояние метров пятьсот.

Дмитрий Григорьевич роста был среднего, но очень широк в плечах. Руки у него бугрились такими бицепсами, что напоминали канаты. Силач поднимал тонну груза, чего в Плюссе никто не мог повторить. И столь же, сколь силен, был он уравновешен, спокоен и нетороплив, даже застенчив. Про него в Плюссе бытовало мнение: Митя Жуков воды не замутит.

Степан Федорович Клемин, конюх, влюбленный в лошадей, как скряга в золото. И не только в лошадей. Я был свидетелем, как в войну дядя Степа, партизан хозчасти бригадной разведки, стоял со «шмайссером» в руках перед мясниками, заслонив трофейную стельную корову.

— Корову извести не дам! Она же с теленком! Перестреляю, коли што!..

Но тягловая сила являлась первостепенной заботой. Лошадки у конюха — все семь — были гладкие, обихоженные, на редкость чистые и ручные. За своим «нянем», когда отправлялись в ночное или на купанье, они следовали без недоуздков, как дрессированные собаки за хозяином. Они не знали норова, понимали речь конюшого и только что не умели говорить сами. Были медлительны, хрупая овес, и отличались резвостью в дороге. Поселковый люд знал, что сказать о конюхе и его лошадях:

— Кавалерия Степана Клемина!

...Весенние каникулы отвеснели. Четвертую четверть я встретил на задней парте седьмого «а» Плюсской десятилетки. И в первый же день занятий попал в немилость к одноклассникам. А было так:

— О, у нас новенький! — сказал учитель химии. — Посмотрим, на что ты годен, парнище. — И стал гонять меня по таблице Менделеева.

Я был «в ударе», да и суть таблицы — валентность элементов — понимал.

— Подходяще! Честное химическое, подходяще!

Ребята мой триумф встретили без воодушевления.

Заканчивался этот день немецким. Немка, записав мою фамилию в классный журнал, предложила:

— Битте¹ к доске, геноссе² Григорьев!
— Каин геноссе, их бин камерад³, - ответил я.
— Что-что? — переспросила учительница немецкого по-русски.

И я заговорил на немецком. Но номер не прошел.

— Да ты, как погляжу, больно учен. Посмотрим, что знаешь из грамматики.

Из грамматики я мало чего знал. И жирная двойка по немецкому языку угнездилась в моем дневнике под пятеркой по химии.

Когда мы отправлялись по домам, чернявая, очень симпатичная и страшно гордая Рая Воронцова, хозяйка первой парты, бросила мне:

— Что, выхвалился? Над тобой все ребята смеются. Эх ты!.. — сказала и пошла на улицу как ни в чем не бывало.

Это было уж слишком. Я догнал девчонку и, чтобы остановить, схватил за портфель:

— Ты завидуешь мне, чернуха...

Моя корительница поглядела на меня с насмешкой и грустно повторила:

— Эх ты!.. А сумку принесешь к нам домой. Да смотри не растряси ее по дороге!

И, оставив мне портфель, убежала за подружками.

Волей-неволей пришлось исполнять повеление горячки. Вечером я пришел к Воронцовым. Была суббота. Хозяева только что пришли из бани и сидели за самоваром. Перед главой семьи стояли сороковка и закуска — большая сковорода яичницы со свиной (с утра я ничего не ел, вот и далась мне эта сковорода).

¹ Пожалуйста (нем.).

² Товарищ (имеется в виду — по партии) (нем.).

³ Не товарищ по партии, я — просто товарищ (нем.).

— Рая портфель просила занести, так вот я его...

— А-а, зятек! Будем знакомы. Садись к столу. Настя, место дорогому гостеньке!

— Ваня, перестань, не видишь, мальчишка со стыда стограет... Ты, сынок, на него не обижайся, он со всеми так неуклюже шутить изволит. Ты садись за стол, подкрепишься. Слыхала я про вас...

Когда, накормленный и обласканный, я уходил от Воронцовых, Анастасия Прокофьевна завернула в холстину большой шмат сала:

— Снеси твоим. У вас такого нету. Свое.

Река Плюсса протекала совсем близко от нашего поселка, всего в каких-то полутора-двух километрах. Большая река. Щедрая река. Чистая река. Родная река. Кабы не она, наше меню было бы — хлеб да чай. А так мы жили припеваючи: рыбы всегда налавливали на уху и на жаренку. И рыбы крупной, первосортной: язей, голавлей, щук, линея, налимов, даже угрей и жерехов. Про окуней, плотву, ельцов и говорить не стоит. Словом, кормились. Хотя ехидная русская поговорка «ружье да уда кормят худо» в известной степени не лишена оснований.

Но удочки — это летом. А зимой — чего есть? Выручай, охота!

В четырнадцать годков я стал всамделишным охотником, получив от отца подарок в счет окончания семилетки — ружье «Лебо» и гончара Полаза. Полаз крепко помог нам продержаться в полуголодное довоенное время.

Вспоминается такой случай. Я — ученик восьмого класса. На целый год мы с братом Львом остались одни в Плюссе. После школы я бегу за стадион, в лес, на охоту. На снегу — ледяная корка после недавней оттепели, и лапы у моей со-

баки ободраны до крови. Не то что бегать, ходить больно. И пес виновато возвращается из кустов, бросив гнать поднятого русака. Долог ли зимний день? Время к закату. Мороз под тридцать градусов. Дома ждут меня выстывшая плита и голодный брат. И я уговариваю псину:

— Полазушка, миленький, худо наше дело. Пожалуйста, поднимайся как-нибудь, полай: пригони косога под выстрел!

Собака понимает меня, глядит укоризненно, коротко влзаивает и продолжает гон. Через полчаса заяц — у меня в руках. Темнеет. Я вытаскиваю — на дрова — жердину из колхозной изгороди (благо все — наше) и, довольный, спешу домой.

Этим вечером мы сыты и в избушке у нас тепло.

А вот еще одна наша с Полазом охота. Начало января 1940 года. На градуснике — сорок мороза. Одежонка на мне — фуфайка. Валенки нет. Но идти надо: есть нечего. Обматываю ботинки тряпками. Кликаю собаку. Идем по узкоколейке к реке. Полаз поднимает русака. Я стою у кромки болотины наготове. Гонный заяц выскакивает на поле и садится в двадцати шагах от меня. Целью в косога, но спустить курок не могу: так заоченели пальцы. Зайчонка замечает меня, пробует прыгнуть, но падает и барахтается в снегу: задние лапы ему не подчиняются... Мороз пошел на пользу: у нас будет обед. Маню гончара. Но тот лает на одном месте и не является на зов: похоже, зовет меня к себе. Иду на лай и вижу разрытую кучу хвороста и очень крупного хоря, лежащего на снегу. Полаз виновато виляет хвостом, будто извиняется: добыть добыл, а принести не мог — больно духат бродяга. Ты уж не обесудь, хозяин.

Я не скрываю радости:

— Крупный зимний хорь — это же целый восемнадцать рублей! Молодчина, пес! — и обнимаю гончара.

Не поведать об одном «ЧП» — значит ничего не рассказать о Полазе. Однажды весной выгляц куда-то подевался. Прошло месяца четыре, наступила уже осень. Выхожу как-то утром в школу и вижу: у крыльца лежит полуживой Полаз, кожа да кости, с обрывком железной цепи на шее. Кое-как мы выходили бедолагу...

— Николай Григорьевич, — признался плюсский шофер отцу, — диву даюсь, глядя на эту собаку. Она заслуживает того, чтобы я покаялся. А ты меня извиняй. Охотник я. Собаколюбие во мне. Вот эфти сто рублей, за которые был продан Полаз. Они твои по праву хозяина. Хочешь знать, как дело было?

— Говори, Алексей Иванович.

— Отвез я, значит твоего гончака на машине в Лугу. А в Луге поупец — на поезд его и в Питер. А там скорый - и в Москву. А из столицы, на электричке, — в Сергиев Посад. Дальше, в автобусе, до нового местожительства... И что бы вы думали: пленник сокрушил цепь и убег домой. Недель пять был в пути, с тыщу километров, ежели напрямик, покрыл. И не сбился с дороги. Нашел Плюссу. Ну и ну!

— Такие уж мы, Алексей Иванович. Нас лучше не продавать и не покупать.

Полаз был бесподобной собакой. В райцентре и в округе не было ни гончего, ни поединщика, ему равного. Все поселковые псы — от мелких шавок до крупнущих овчарок — признавали его первенство и при нем вели себя культурно и смиренно. Он прожил долгую, по собачьему счету, жизнь — семнадцать лет и пал в 1943 году от германской пули, бросившись на оккупанта.

Да будет благословенна жизнь, в которой как среди

людей-братьев, так и среди «братьев наших меньших» не переводятся существа весьма значительные и яркие. И их на белом свете больше, чем нам порою кажется.

Понадобилось полвека с гаком, чтобы понять: а ведь тогда мы жили (в удивлении), а вот теперь пребываем (в недоумении). Но по-тогдашнему жилось нам — и материально, и морально — туговато, как выразился бы соцспец нынешнего дня.

Очередь за хлебом мы занимали чуть свет, а если появлялся сахар, то с вечера становились в людской хвост. Помню, мы с Лекой глядели на конфеты «Белая ночь» и их цену — 18 руб. кг — и диву давались: неужели есть такие люди, которые едят эти конфеты?

Я подрабатывал, как мог: ловил кротов, собирал ягоды и грибы для заготконторы, грузил дрова, был подсобником — «агентом по сбору пушнины» — в охотничьем магазине отца. И, конечно же, рыбалил и охотился. Брат помогал мне изо всех сил.

Веснами в реке Плюссе на донки хорошо ловились налимы, а иногда попадались и угри. И от конца ледохода до просветления и потепления вешней воды два-три раза в неделю мы ночлежничали на рыбалке.

Пару недель спустя, когда вода прогрелась и налимы переставали братья, а другая рыба еще слабо клевала, я с головой окунался в охоту, празднуя вечерние зори на тяге, а утренние — на току. Какие это были тяги! За вечер пролетит — «протянет» над тобой — вальдшнепов пятнадцать. И что это были за тока! На ином птичьем ринге билось, горланило и ликовало тетеревов по тридцать. Хорошо хоть, что стрелок я тогда был отнюдь не «ворошиловский» — большого губления природе не причинял.

Когда я учился в девятом классе, со мной приключился некий казус, который окончательно сблизил меня, даже, пожалуй, породнил с учителем химии Кассин Касиничем.

А дело было так. В субботу, после занятий в школе, отправился я в деревню Лешевицы, что находилась в семи километрах от Плюссы, на охоту. Тяги и тока там были отменные.

Я побродил по лесу и болоту несколько десятков верст, двое суток не спал, уморился так, что искры сыпались из глаз. Утром в понедельник, оседлав свою последнюю парту, я сначала задремал, потом заснул как следует и, наконец, сладко захрапывал. Класс захихикал. Шел урок химии. Учитель подошел к моей парте и долго стоял молча, качая головой. Класс затих, предвкушая потеху. А мне снился хороший сон: будто подобрался я к больше-енному, с банный котел величиной тетереву. Птица не чувствует беды, токует-заливается, а я шарю в патронташе жакановскую пулю, чтобы наверняка завалить великана. И вдруг он как налетит на меня, как долбанет! Я открыл глаза. Константин Константинович, ухватив костлявой пятерней за ухо, будил меня:

— Встать, мерзавец!..

А пару недель спустя, когда педсовет решил исключить меня из школы «за неблаговидные стихи», он же, мой дорогой учитель химии, встал горой на мою защиту:

— Выгоните Григорьева — гоните и меня. Один из школы он не уйдет.

И я, вместо «волчьего паспорта», получил табель успеваемости, где фиолетовым по белому было написано: «Переводится в десятый класс».

Выпускной класс требовал серьезной учебы, так что от

приработка мне пришлось отказаться. А семья наша в это время разрослась до шести душ (мачеха, две маленькие сестренки и мы). Ни земли, ни живности, кроме гончара Полаза да кота Касьяна, у нас не было. Хлеб стоил 95 копеек кг. Зарплата отца — 400 рублей в месяц минус заем (две зарплаты в год) и налоги. Чистых — три сотни на шестерых, или 1 рубль 67 копеек в сутки на едока.

А тут новая денежная напасть: сто пятьдесят целковых в год со школьника — плата за обучение. Денег этих, видит Бог, у моего отца не было и быть не могло. И вылетел бы я из школы как злостный неплательщик, когда бы не выручил мой славный Кассин Кассинович. Он внес деньги за меня. А ведь у Константина Лапина, кроме его большой семьи да скромной зарплаты, ничего не было.

В феврале 1941 года меня вызвали в военкомат и предложили поступать в военное училище. Военком объяснил коротко и ясно:

— Все равно от армии никуда не денешься!

В марте я сдал досрочно экзамены, получил аттестат зрелости и с пятого мая стал курсантом бывшего Пажеского корпуса — Ленинградского пехотного училища. Но проучился там лишь малую толику. Заболели глаза, и 15 июня 1941 года я вернулся в Плюссу.

До конца моей юности оставалась ровно неделя. Но прошла она, и вот — «Гореванье»:

Как ты глухо стонешь, Поле,
Выбито стальной пятой.
Может, не было русской доли —
Колос не звенел литой?

Как ты горько тужишь, Речка,
Братскую могилой став.

Может быть, забиться сердечку
Первый час еще не настал?

Как ты тяжело дышишь, Небо,
Желтые крыла неся.
Может, жизни еще и не было? —
В пламени планета вся!

(1941 Плюсса)

Отечественную войну я встретил и провел на Псковской земле. Хлебнул унижения, тоски, горестных тревог, черных мук оккупации. Бремя-лихо, жуткое время, до предсмертного вздоха своего не перестану вспоминать о тебе! И у последней черты не отрекусь от ненависти к атрибутам фашистов, правильно — национал-социалистов: кровожадности, подлости, холуйству и шкурничеству!

Про военное лихолетье собираюсь написать роман «Горит вьюга», о котором давненько помышляю.

В годы германского нашествия было суждено мне стать руководителем плюских подпольщиков и возглавить группу разведки во вражеском тылу...

Глаголать об оккупации, задыхаясь ли от страха, или захлебываясь от ярости, поносить ее, пусть даже самыми гнусными словесами, наделяя проклятейшими эпитетами и изощреннейшими метафорами, — все равно ничего не сказать о ней. Оккупацию, наверно, нельзя выразить ничем и никак. Разве что песней. Песни мои в оккупации были горестны.

...Никому спасенья от крестов безбожных!
Никакого лета в убиенных пожнях.
Грех и разоренье, кровь и униженье.
Умирают села, как в костре поленья...
Обмерла осинка у горюн-крылечка,
Будто потеряла знобкое сердечко, —

Горькая не может в бль-беду поверить:
Мертвых не оплакать, горя не намерить...
(«Лихо», 1941)

Но мы слышим, слышим, слышим
Жаркий голос русской вьюги.
Да! Мы дышим, дышим, дышим —
Копим жилистые руки.
(«Непокорство», 1.942)

Оккупация — это свои люди сами не свои, чужеземцы вокруг и около, анабиоз жизни, полицаи, подпольщики, есть очень хочется, но еще пуще жаждется жить. И заново нарождающаяся, попранная, но бессмертная вера в Бога, и, как Божий дар, любовь к Отечеству и свободе с надеждой на спасение и Победу.

Немцы вернули крестьянам землю. И всего за два года, без всякой техники, бабы да старики ухитрились произвести столько хлеба, что его хватило и для налога, и для прокорма партизанской многотысячной братии, и для себя, и для товарообмена, и осталось даже для пожаловавших на отвоеванную землю колхозов (хотя возвращения колхозов крестьяне боялись).

Все это и много чего иного — оккупация. Знамя у немцев было ошеломляющее: кроваво-красное полотнище (обычно из шелка), на которое нашит белый круг во всю ширину, а в кругу, опять же нашита, толстая абсолютно черная свастика — Nakenkreuz, «крюк-крест».

Такое знамя висело в Плюссе на флагштоке перед солдатским казино (бывший банк). Когда его касался ветер, оно начинало шевелиться, будто ползла неимоверно мерзкая и страшная гадина. Оно повергало в трепет и вгоняло в ужас проходящих мимо невольников. Не буду записывать: на себе испытал.

Какие же они, немцы, если судить о них не понаслышке? А вот какие.

13 июля 1941 года, в день захвата Плюссы чужеземцами, я пробрался в оккупированный поселок и завернул в нашу хату. Она уцелела от огня и железа, но там уже поселились трое солдат. Один из них, долговязый, нескладный, черный ефрейтор с мальчишеским лицом и капризными губами, на которых и молоко-то как следует обсохнуть не успело, оглядел меня и спросил:

— Тебе сколько лет?

— Через месяц — восемнадцать будет. А тебе?

— Девятнадцать было месяц назад. Давай бороться! — сказал он и, не дожидаясь ответа, схватил меня в охапку, зажав так крепко, что я едва не задохнулся.

Скажу, не хвлясь: был я в те поры хотя и тощеват с виду, да жилист. И к разного рода схваткам и борениям — от «кто кого пересидит в парилке» до «кулачков» — годился. И падать в грязь лицом перед немецким молокососом мне, русскому водохлебу, было негоже.

Вначале пришлось ой как туго, и все мои силенки уходили только на то, чтобы устоять на ногах. А потом, спустя минут десять, немец стал обмякать, и мне удалось подпятить его к сосновому пеньку, за который фриц зацепил сапогом и полетел наземь. Тут я крепко-накрепко повис на нем: как он ни взвивался, ни ерепенился, сбросить меня не мог.

За победу мягкая часть моих телес отведала подкованного немецкого сапога. Но я, пусть и такой ценой, крепко понял, что немцев одолеть можно — они хлипкие: надобно только выстоять в начале единоборства, выдержать первый нахальный натиск противника и не выдохнуться. А там вали его наземь!..

Где-то в феврале-марте 1943-го на скотный двор бывшего совхоза «Плюсса» эсэсовцы пригнали роту немецких солдат-штрафников. Глядеть на этих горемык было жалко и страшно, настолько они были замордованы. На вопрос, за что их приговорили к такой жестокой пытке свои же братья и не гуманнее ли было бы просто убить их, охранники отвечали одно и то же, видимо, крепко заученное: «Осужденные — воры, которых мало убить. И каторга их имеет большой политический смысл».

Как-то к нам домой забрел один из этих штрафников. Лицо и уши горемыки были отморожены и представляли сплошную рану. На одной ноге у него был ботинок, на другой — какой-то опорок. Он рассказал, что штрафники никакие не воры, но они не угодили фюреру и «новому порядку», отказавшись воевать. И за это всех их ждет лютый конец. Еды им почти не дают. Их заставляют выполнять совершенно бессмысленную работу: уминать снег на поле, ни для чего долбить лед на реке, зряшно черпать в проруби воду, относить ведра на сто шагов и выливать на лед, на себе таскать песок из карьера и высыпать его в промоину... Помещения, где они ночуют, не отапливаются. Их бьют плетками и палками не только надсмотрщики, но все, кому не лень. Их можно забить до смерти: ведь они «воры» — враги честного райха.

И я ужаснулся: не только жестокосердый Восток, но и сердобольный Запад, воплощающий бредовые идеи вождей и партий, дьявольски безбожен.

Оккупация! Захватчики и захваченные, усмирители и непокоренные. Много чужих и еще больше своих. Своих по русскому духу и по ратному делу. Но слово мое о самых близких из близких.

Лев Николаевич Григорьев — при его жизни самое близкое и дорогое мне дитя человеческое — мой родной брат, кровный друг и почти сын. Да-да, сын, хотя он и родился всего двумя с половиной годами позже меня — 26 февраля 1926 года. Не считая редких и коротких расставаний, мы жили с ним вместе единой душой от первого его приветственного всхлипа до последнего стона, выплеснутого им в бою 26 сентября 1943 года — в семнадцать с половиной лет.

Был Лека (так его все звали) лучше меня: проще, спокойнее, сильнее, рассудительнее и, наверно, талантливее. Стихи он любил не меньше меня, да и писать их начинал не хуже, чем я. Проба его пера сгинула в огневороте войны.

К семнадцати годам Лев перерос меня на полголовы, да и плечи у него раздались пошире моих. Никто из его сверстников не мог потягаться с ним силенкою, и я в том числе. Был он белокур, лобаст и сине-синеглаз. Его крупный «римский» нос, чувственные губы и мягкий красивый подборок с ямочкой выказывали натуру влюбчивую, верную, сильную и сдержанную.

Мой брат имел тонкий музыкальный слух и очень хорошо пел.

Лев крепко жалел зверей и птиц, не любил охоту, отказывался ловить даже кротов, хотя за их первосортную шкурку заготовители платили по рублю. Но не рыбачить он не мог: чем-то надо было кормиться...

Когда у нас было нечего есть и добыть съестного не удавалось, мы довольствовались стихами. Рифмы натошак — это совсем не то, что лирика после плотного ужина и сладкого вечернего чая с пирогами. Совсем не то! Испытайте, сами убедитесь в правдивости моих слов.

Любимыми нашими поэтами были Александр Блок, Алексей Кольцов и Афанасий Фет. Сергея Есенина к нам

не пуццали, и мы лишь понаслышке знали о величайшем певце Руси. Читали мы охотно поэтов-классиков. Да и прочих поэтов, если они попадались под руку, не обходили стороной. Не забывали мы и самих себя — тоже почитывали. Лев знал наизусть всю поэму Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и иногда часами читал ее собравшимся в нашем домике ребятам, а то и взрослым.

Лев хорошо знал немецкий язык (знал он и испанский), работал у немцев на продуктовом складе грузчиком и в подполье был незаменимым разведчиком. По его данным не одна груженная машина врага натыкалась на мину, а ее продукты попадали в руки партизан.

Своих домашних Лев подкармливал: то овса принесет в голенищах сапог, то крупы какой, а то и колбасину умыкнет на складе...

А вот еще незабвенное существо — Любовь Алексеевна Смурова, моя первая помощница по разведке и подполью, переводчица на плюсской бирже труда.

Любовь до конца пронесла своя тяжкий крест ратоборицы, пролила кровь свою до последней кровиночки, стгорев в пожаре Великой войны. Сгорела, чтобы подогреть в нас веру и надежду па победу и жизнь.

Люба была на год моложе меня. Внешне неброская, курносая, невысокая, крепко прихрамывающая, очень сдержанная и строгая, тихая и застенчивая. Существо это было чистое, гордое, светлое, человеколюбивое, верующее и верное. И обязательное. К войне разведчица относилась, как к необходимой работе, которую надо делать любой ценой.

Весной 1943 года Люба Смурова и я ходили на связь с подпольным центром, который находился тогда у дерев-

ни Машутино Стругокрасненского района. Дорога наша была неблизкой — двадцать два километра туда и столько же обратно, да там немереные версты.

Из Плюссы мы вышли ранним вечером (когда немцы ужинали). За ночь надо было управиться с делами и вернуться домой, чтобы «комар носа не подточил».

Мы миновали совхоз Симоново, оставили позади себя болото Соколий мох, обогнули стороной деревню Радовье и вошли в большой лес. Солнце клонилось к маковкам деревьев. Птицы пели во всю ивановскую. По бокам извилистого проселка цвели медуница и ветреница, а на полях — первоцвет. Было тепло и духмяно. Мы шли, охмелены весной. И лета наши, Любе — восемнадцать, мне — девятнадцать, подбавляли в нашу кровь вешнего хмельку...

И оба мы в этот вечер нравились друг другу. И оба понимали, на что пошли, с кем вступили в единоборство и что может нас ждать по возвращении из партизанского леса в захваченную ворогом Плюссу. Да что там — по возвращении! Может быть, вот сейчас, вот за этим поворотом дороги...

Грозвая обитель,
Заколдованный круг.
И наган-утешитель —
Твой единственный друг.

А лес укрывал нас от недоброго глаза и людского пересуда, птицы и цветы славили жизнь, любовь и красоту, закатная заря обещала ведренный день назавтра. Но нам было совестно и боязно грешных чувств. Мы не посмели даже поцеловаться.

На обратном пути от партизан, обсуждая опасное за-

дание начальника разведки подпольного центра, Любовь Смурова сказала как будто не только себе и мне, но всей ночи, всему лесу, всей замершей земле:

— Я жизни не пожалею для России!

Она не пожалеет...

Однако, пока нас не хватились, вернемся в Плюссу. Там у подпольщиков хлопот невпроворот. Три месяца — май, июнь и июль 1943 года — для плюсских разведчиков были жаркими: ведь служили не за страх, а за совесть, и поединки были не на живот, а на смерть.

9 июня меня вызвал комендант местной комендатуры майор Флото. В кабинете у коменданта сидел лейтенант Абт из фельджандармерии.

— Переводчик немецкой комендатуры обязан быть в военной форме, — сказал Абт.

— Разрешите подумать.

— Думайте. Все взвесьте. На раздумье — трое суток, — бросил Флото.

За полночь я пришел в подпольный центр, благо находился он в это время всего верстах в десяти от Плюссы.

— Почему внеочередной визит? Что случилось, Игорь? — встревожился начальник разведки. Он знал: зря в центр не ходят.

Я рассказал о решении немцев.

— Что надумал делать? — вмешался в разговор командир.

— Ихнюю форму ни за что не натяну на свою шкуру!
Хоть убейте!

— Не горячись, — мягко заметил начальник разведки.

— Иван Васильевич, что хотите делайте, не могу. Форму не надену!

— Хватит с него! — утвердил командир. — Утверждаю отказ.

— Спасибо, батько Тимофей Иванович.

Через три дня лейтенант Абт выговаривал мне:

— Не желаете, ваше дело. С завтрашнего дня опять будете вывозить почту. А когда наберем партию на этап, отправитесь в Германию. — И добавил с ухмылкой: — Желаю удачи.

— Данке, экцеленс!¹

Этот разговор происходил в комендатуре утром 11 июня 1943 года. А назавтра, под злорадные смешки земляков, уже второй раз в этом году я вез почту на вокзал, впрягшись в почтовую тележку. Выезжать старался пораньше: мимо вокзала катили немецкие эшелоны на фронт и с фронта. Что ни говори, а мне и на этот раз повезло...

В первых числах августа центр приказал дать сведения о немецкой агентуре. К этому времени нам удалось выявить нескольких немецких агентов — от «цеппелиновцев» до сотрудников СД².

Моей помощницей по разведке была Любовь Смурова, переводчица на бирже труда. На бирже имелась картотека, в которую были занесены все взрослые работоспособные люди Плюсского района.

— Люба, мне нужны карточки кое на кого из картотеки биржи труда. Слушай и запоминай их фамилии.

— Вот карточки, — сказала Люба на другой день.

Я переписал данные карточек и вернул их моей помощнице.

— Немедленно верни в картотеку. А то схватятся и догадаются, что кто-то охотится за немецкими агентами.

¹ Спасибо, ваше превосходительство! (нем.)

² Служба безопасности.

— Поняла. Но возвращу карточки на место завтра. Сегодня вечером я уйду на связь с центром.

Любовь Смурова ушла вечером 10 августа 1943 года, унесла сведения о немецких агентах, иные разведанные, увела в партизанский отряд подпольного центра восьмерых наших военнопленных.

Назавтра, в семь ноль-ноль, как было условлено, Люба не пришла с рапортом о выполненном задании. Не явилась она и в восемь часов. И я направился к дому Смуровых. Навстречу мне шла Любина соседка и подруга по работе Галина Бывшева.

— Уходи, Игорь! — сказала Галя. — Любу арестовали прямо на работе. Проходя мимо, Люба, губами, сказала одно лишь слово: «Игорь». И вот жду тебя, чтобы предупредить. Уходи! — И девушка удалилась.

Легко сказать: «Уходи!». Но я не мог этого сделать, не узнав, что с Любой. Домой возвращаться было рискованно. Оружие наше хранилось вне хаты, в земле, и, вооружившись, я отправился на Болотную улицу, к моему товарищу Алексею Степанову.

— Плохи дела, Алеша! Арестовали Любу Смурову. Мне мельтешить в поселке нельзя: могут схватить немцы. Погуляй по Плюссе, узнай, что там делается...

В полдень Алексей вернулся.

— Слышал от наших людей: Люба арестована полевой тайной полицией. В лагере военнопленных взят переводчик Игорь Трубятчинский. С полчаса назад в ГФП привели Любину двоюродную сестру Анну Егорову и ее мать, тетку Ирину из деревни Радовье. Другие подпольщики остались на воле...

Ночь с 11 на 12 августа я провел в доме Алексея Степанова. Не спалось. Какой тут сон. И почти всю ночь писал

стихи. Алексей, поднятый с постели взрывами на железной дороге, спросил, зевая:

- Никак стихи сочиняешь?
- Их, Алеша, такое дело.
- Нашел время.
- Когда же и сочинять, если не в такой момент...

Назавтра, в середине дня, когда я покинул убежище и вышел на улицу, ко мне подошел связной в немецкой форме, сказал тихо пароль:

— Зажги выюгу!

— Горит выюга! — чуть не крикнул я от радости. Но это только показалось — крикнул. На самом деле лишь прошептал отзыв. Так велико было напряжение последних суток и такой сильный спад последовал за этим напряжением.

— Вы должны немедленно уходить. Отзывает центр. Брата берите с собой. Домой не заходите: там засада. Дороги перекрыты. Уходите через минное поле. Там нет охраны. Перейдете заминированный участок напротив дома Ломакиных: там — проход. Держитесь. Явка в Машутине у Валентины. Счастливо.

12 августа 1943 года, ровно в 14 часов по вокзальным часам, мы с братом Львом перешли железную дорогу и по Болотной улице поспешили к минному полю. Навстречу нам, как доброе предзнаменование, шла Раиса Воронцова.

— Рая, мы уходим насовсем. Но я приду за тобой. Жди. И прими стихотворение. Много я тебе их написал за шесть лет. Возьми еще одно. Я его сочинил сегодня ночью. Оно — тебе.

Девушка, стоявшая перед нами, была та самая бывшая семиклассница, которую я в 37-м году так неосторожно и так несправедливо обозвал «чернухой». Все эти годы я безнадежно любил ее.

На другой день утром мы добрались до лагеря Стругокрасненского межрайонного подпольного центра в Радовском лесу.

Как стало известно позднее, Любовь Смурову допрашивали в ГФП — полевой тайной полиции — месяц и три дня. Что там было? Бог весть. А я могу сказать лишь то, что после ареста Любы в Плюссе не пострадал ни один человек, тем более подпольщик. И мне Любовь даровала жизнь.

В ночь с 15 на 16 сентября 1943 года, девятнадцати лет отроду, Любовь Алексеевна Смурова и с нею трое подпольщиков были расстреляны в Плюссе, на краю стадиона, у железной дороги, напротив семафора.

К лесу мне с братом не привыкать: и рыбалка с ночевкой, и охота, и походы по грибы-ягоды были для нас привычным и естественным делом. Поэтому лесной партизанский лагерь с первого дня стал нам родным и надежным домом.

Под густой елью, на подстилке из хвойного лапника мы устроились, как на доброй русской печке. Костер на всех был один — в середине лагеря. Его обычно жгли либо ненастными ночами, либо непогодными днями, чтобы не углядели вражки самолеты. В подпольном центре в то время было не много партизан — человек сорок.

Находился лагерь километрах в трех от деревни Радовье Плюсского района, в старом лесу, на самой кромке огромного болота Соколий мох. Впрочем, летом и осенью 1943 года центр подолгу не задерживался на одном месте: чаще несколько дней тут, неделю там и опять на новое местожительство. Дольше других мест партизан принимал Зареченский лес.

Партизанские старожилы встретили меня и Льва дру-

желобно и сразу приняли как равных. Но мы глядели на них с обожанием: шутка ли — два года, летом и зимой, провести в лесу!

Забегая наперед, скажу: руководитель Стругокраснейского межрайонного подпольного центра и главный командир партизанского отряда Тимофей Иванович Егоров стал мне близким другом на всю жизнь. И я никогда не разлюблю этого замечательного человека. Никогда. Я почитал его как отца. Да и партизаны величали его батшкой. А было ему летом 43-го всего тридцать шесть лет.

Тимофей Иванович запомнился мне светлоголовым, широколобым, скуластым и желтолицым. Его мучила язвенная болезнь, а он и не думал покидать поле боя, не собирался бросить свой отряд и отправиться в наш тыл в госпиталь. Со всеми и во всем он был прост, прям и откровенен; с подчиненными вел себя «на равных», мягко и нестрого; к провинившимся и повинным относился великодушно и милостиво. И что делало большую честь нашему руководителю — он никогда не проливал людскую кровь зряшно и нам запрещал быть жестокими и кровожадными с противником. За эту мудрую человечность люди платили ему верной дружбой и смелыми ратными делами.

В отряде не сидели сложа руки. Каждую ночь, кроме разведки, засад, диверсий, ходили «на заготовки» — на добычу еды. Иногда мы лакомились провиантом попавшего впросак противника. Но чаще кормились за счет населения, которое уступало нам без особого энтузиазма.

Вскоре после нашего появления в отряде Тимофея Егорова группа партизан, в которую попал и я, отправилась встречать «Дуглас» с Большой земли. Самолет прилетел около двух часов пополудни. На наш сигнал — четыре костра квадратом и костер в середине — было сброше-

но на парашютах около десяти грузовых баулов: оружие, взрывчатка, мины, патроны, одежда, еда. И почта — письма счастливым и газеты. Даже куры и спиртного, хоть и немного, перепало нам из тех баулов.

Приняв самолет, мы довооружились «до зубов» и как следует приоделись. Вечером того же дня группа из семи человек отправилась на «железку». Осуществить диверсию было намечено у самой Плюсы, между железнодорожным мостом и поселком, на 179-м километре. Здесь немцы меньше всего ожидали нападения партизан.

Шли ночью, быстро и скрытно. Следующий день провели в лесу почти у самой железной дороги, наблюдая за охраной полотна и движением поездов, выбирая подход к цели.

Взрыв было намечено произвести с помощью «удочки» — партизанского изобретения. В пакет с толком вставлялся капсюль от гранаты Ф-1 («лимонки»). К чеке капсюля привязывалась веревка из связанных парашютных строп длиной метров 100-150. Такую импровизированную мину устанавливали под рельсы, маскировали и взрывали, дергая за веревку, обычно под паровозом или перед ним. Толу закладывали килограммов 10-15, а иногда и больше.

Стемнело. Настало время разматывать «удочку» и минировать «железку».

— Пойдут братья Григорьевы, — решил командир группы. — Игорь понесет мину и заложит ее, Лев будет разматывать веревку.

Мы были новичками, понимали, что на нас не только смотрят, но нас проверяют «на прочность». С непривычки было не по себе, особенно когда подбирались к дорожному откосу, перед которым для защиты от парти-

зан дыбился завал из поваленных кустов и деревьев, колючей проволоки и всяких побрякушек (пустых консервных банок, бутылок, железок) подвешенных к проволоке и сучьям. Кроме того, и завал, и откос были заминированы минами-сюрпризами. Однако на линию мы заползли благополучно и мину — пуд взрывчатки (сорок пашек) — под рельс угнездили. Я вставил взрыватель, а потом, как мог, а вернее, как умел, закопал и замаскировал смертельный груз. Брат тем временем размотал веревку и насторожил «удочку» со стометровой «лесой». Все пока что обошлось без сучка без задоринки. И мы стали ждать эшелон.

Под утро со станции в нашу сторону направились два патруля. Они шли медленно, освещая карманными фонариками рельсы. У заминированного места немцы остановились, заподозрив неладное. Свеженарытый песок под рельсом и на шпалах выдал нас. Патрули коротко посоветались, опустили на корточки и стали разгребать грунт. Веревка «удочки» дернулась раз-другой, потом ее потянул к себе немец.

— Ключуло. Чтoб им неладно! — прошептал командир. — Дергай!

Грохнул взрыв. В поселке и на железнодорожном мосту раздались выстрелы. Нам ничего не оставалось, как уносить ноги...

В двадцатых числах августа невдалеке от деревни Должицы, когда переходили шоссейку Плюсса-Ляды, наша группа нарвалась на немецких егерей. Бой был неравным и не в нашу пользу. Пришлось утекать. На большой поляне, которую мы перебежали, легло семеро партизан.

До конца поляны, то есть до спасения, оставалось ме-

тров сто. И тут меня хлестнула пуля. Я упал. Неподалеку от меня лежали мои собратья. Немецкий пулемет замолчал. На поляну вышла цепь фашистов со «шмайссерами» в руках. По простоте своей я решил прикинуться убитым и отлежаться. Но не тут-то было! Немцы шли развернутой цепью и стреляли в лежащих партизан. Нет, лежать было негоже! Я поднялся на локтях, поднатужился и прыгнул. Потом сделал второй прыжок, третий... То на руках, то катаясь к спасительному лесу, подобно деревянному кругляшу, вскакивая на здоровую ногу, падая, подымаясь, скрипя зубами от боли и моля Бога о спасении, я пробивался к чащобе, чтобы укрыться там, как стреляный дикий зверь. Цепь карателей, не ускоряя шага, шла вперед, пристреливая убитых, а может, и раненых. Меня осыпало автоматными пулями. Потом я вынул несколько из фуфайки, из карманов, из-за пазухи. Три пули торчали в спине. Но счастье было на моей стороне: немцы шли в полный рост, мешая пулемету стрелять. Автоматчики были все-таки довольно далеко, и пули «шмайссеров» настигали меня на излете, поэтому, полумертвый и полусведенный с ума, добрался я до леса. Немцы дошли до кромки, постреляли по кустам, кинули несколько гранат и вернулись на опушку, под защиту своего пулемета.

Дело было вечером, часов около десяти, наверно. Я перевязал сквозную рану нижней рубахой. Седалищный нерв, как потом выяснилось, был поврежден. Не стану запыряться, растерялся я вначале: часов на руке не было, ни компаса, ни полевой сумки, вещмешка тоже не было. А там — патроны для автомата и пистолета, ну и еда какая-никакая, и перевязочный пакет. Темнело в лесу. А может быть, это темнело у меня в глазах. Вскоре я впал в забытье. Очнулся на рассвете от озноба. И пить хотелось огненно.

Рана нагноилась, и нога распухла. Но все равно надо было двигаться. И я пополз к людям. Без них мне было никак нельзя.

Через день меня подобрала на сельском кладбище крестьянка деревни Посолодино Плюсского района Ольга Артемьевна Михайлова. Добрая душа на ручной тележке, ночью привезла меня к себе в глинобитную хату на берегу речки Черной, привела в чувство и выходила.

Спустя месяц на своих двоих мне удалось найти наш отряд. Радостно было вдвойне: и ранения нет как нет, и свои тут как тут.

Однажды утром радист сообщил нам:

— Ночью в Зареченском лесу приземлился «кукурузник». Поздно вечером самолет улетит на Большую землю. Пишите письма в наш тыл.

Брат Лека в этот день был на задании. А я, расположившись на толстом еловом пне, написал короткое письмецо маме, которую война застала в городе Ораниенбауме (Ломоносове, шутовское название — Рамбов). Потом я, чуть ли не весь день, сочинял стихи о нашей тогдашней жизни, чтобы приложить к письму. Вот что у меня получилось:

Письмо

Мы в надежном месте, мама,
Все спокойно. Тишина.
Вкруг — природа: дача прямо.
И как будто не война.

Я и жив, и в полной силе:
Вишь, как бодро речь веду.
Коль в плену не уложили —
На свободе ль пропаду.

Лека наш ершишек удит —
Есть надежда на улов.
Да к тому же скоро будет
Вдоволь ягод и грибов.

Так что, так что до удачи
Недалече, милый друг...
Я пока сижу на даче,
Лажу «удочки на шук».

Тут была одна загвоздка:
По березнику кружа,
В трех верстах от перекрестка,
Наступил я на ежа.

Еж военный — зверь колючий:
Взял и ногу занозил.
Не таюсь, случился случай:
Лес не милует мазил.

Но меня не удручает
Тот конфуз и перешлет.
Поговорка выручает:
Все до свадьбы заживет.

Ты-то как в своем Рамбове?
Ждешь сыночка у крыльца?..
Ах, в Рамбове не в Тамбове —
Ад блокадного кольца.

Фронт в пяти верстах, не где-то —
В Петергофе. На носу...
Да, нечаянную лето
Нам натучило грозу.

Потрепи! Не будет грома,
Поразведрит облака.
Худо-бедно, мы ведь дома.
Ад земной не на века.

А пока, хоть понемногу,
Хоронись от бомб и мин...
Я за нас молюся Богу.
Твой уверовавший сын.

Игорь Григорьев.

21 сентября 1943, немецкий тыл.

Эти стихи стали первой главой поэмы «Двести первая верста».

Я сложил письмо солдатским треугольником и простым карандашом написал памятный мне по мирным дням матушкин адрес:

*город Ораниенбаум,
улица Красного Флота,
дом 3, квартира 24,
Марии Васильевне Лавриковой.*

И хотя мама еще в августе 1941 года была эвакуирована в Костромскую область, весточка моя нашла адресата. Да, по совести работала тогдашняя почта, с нынешней не сравнишь: из Санкт-Петербурга из трех писем доходит одно. И идет оно до Пскова две-три недели.

Отправив самолет с нашими письмами на Большую землю, уморившись многоверстной ходьбой по азимуту, мы устроили трехчасовой привал. Я спал на еловых лапах под плащ-палаткой. И приснился мне сон. И был этот сон до того четок, резок и нещаден, до того осязаем, что я не могу понять: пригрезилось ли это мне? Или еще что?

Посреди пустой песчаной дороги в белой домотканой рубаше стоит босой брат, у его ног — таз. В лице ни кровинки, оно серое и совершенно безучастное. В правой руке Лев держит большой партизанский нож. Левый рукав его балахона засучен выше локтя, и рука на сгибе перерезана

до кости. Лека держит руку над тазом, в который течет кровь. Таз уже полнехонек, и кровь через края сливается в песок.

Я кричу, я молю, я заклинаю брата опомниться, но он как-то загадочно и грустно усмехается и медленно растворяется в пространстве...

Я вскочил на ноги, то ли от кошмарного сна, то ли от команды «Подъем!». Надо было продолжать солдатский путь.

Днем меня и брата вызвали в штаб центра.

— Как нога? Затянуло рану? — спросил начальник разведки майор Иван Хвоин.

— Приседаю малость, Иван Васильевич, а так — топаю.

— Топаешь? Это и надо! Дело есть. Переодевайтесь в немецкую форму и дуйте в Плюссу. За шефом районной полиции! Он нам нужен. Обязательно живой. В двадцать два часа двадцать пятого сентября господин начальник в полицейской-управе будет ждать двух немцев — капитана и унтер-офицера. Они должны отправиться к месту казни за поселок, на карательную акцию. Немцы пунктуальны, а шеф-полицейский услужлив. Наверняка явится раньше назначенного времени. Впрочем, и мы позаботимся, чтобы явился раньше. В двадцать один час тридцать минут вы с ним выйдете за Плюссу. И там захватите его. Пароль у немцев на двадцать пятое — «Фатерланд».

25 сентября в 22 часа я, мнимый немецкий хауптманн, и Лев, мнимый немецкий унтер-офицер, вместе с шефом районной полиции были уже за поселком и шагали к Зареченскому лесу.

Тихой туманной ранью 26 сентября мы подошли к деревне Насурино Стругоокрасненского района. Лев шел

впереди, проверяя дорогу, я с «языком» — шагов за двести от брата. Вдруг впереди раздалась стрельба.

— Засада! — закричал Лека. — Уводи «языка», а я задержу немцев!

Стрельба разгоралась. Полицейский шеф с криком «Я свой!» бросился бежать навстречу немцам. Пришлось сбить его с ног и принудить ползти в лес, подальше от засады. На дороге, где залег Лев, рвались гранаты, частили «шмайссеры». В ответ короткими очередями огрызался автомат Льва.

В семь утра шеф Плюсской районной полиции был передан начальнику разведки майору Хвоину.

Два часа спустя я привел на место засады группу партизан во главе с Тимофеем Егоровым. Все было кончено. Лев лежал в траве, изрешеченный пулями и осколками. Местные жители, которые везли немцев на подводах в Струги Красные, рассказали, что староста деревни Насурино заметил партизан, идущих на задание. Ночью он привел на это место немцев, и те устроили засаду на нашем пути.

Лека был храбрым и сильным человеком. Таких война не милует в первую очередь.

Товарищи по оружию, партизаны подпольного центра, похоронили Льва Николаевича Григорьева на месте его гибели, на лесной поляне возле деревни Насурино, в тот же день. Тимофей Егоров приказал мне:

— Предателя уничтожить! Дом сжечь!

Я зажег паклю, сваленную на чердаке, и ворвался в дом старосты. Был какой-то праздник. Перед иконами горела лампада. Семья во главе с хозяином сидела за столом. Ели мясные щи (голодному ли не учуять их запах!). На столе стояла бутылка самогонки. Староста был «под мухой».

— Веришь в Бога? — спросил я, почти хрипя. — Становись на колени под иконы! Я пришел за твоей подлой шкурой!

Хозяйка и дочь, повалившись в ноги, обнимали мои сапоги, молили о пощаде. Мне стало страшно и тоскливо. Выпустив в потолок длинную — на полдиска — автоматную очередь, я бросился на улицу. Пятистенок пылал.

— Тимофей Иванович! Дом предателя горит. А вот самого я прикончить не смог. Солдат я, не палач...

Млад я был и глуп в те годы, поэтому нередко попадал в истории комичные, зряшные, а то и опасные: то, возжаждав полакомиться медом, я драпал от разъяренных насекомых на смех всей деревне; то взрывал мост в деревенской глуши, уничтожать который было вовсе необязательно; то, в форме немецкого хауптманна заявившись во вражеский гарнизон, от обиды и бессильного гнева приставал к германскому нижнему чину, заставляя его козырять мне, гоня строевым шагом, распекая захватчика самыми обидными немецкими ругательствами. Но это мальчишество.

А дело приходилось делать. Ратное дело. Грозное дело. Страшное дело.

Между тем наступило время моей разлуки с подпольным центром Тимофея Егорова, который стал мне домом и семьей.

Утром 16 ноября меня затребовали в штаб центра. В штабе, крестьянской избе, было тепло, пахло свежеспеченным хлебом, антоновскими яблоками и мясной похлебкой. Начальство центра — Тимофей Егоров, Василий Красотин и Иван Хвоин — из большой глиняной миски ели суп.

— Разведчик Игорь Григорьев по вашему приказанию явился!

— Снимай амуницию и фуфайку, садись за стол. Валентина, дай парню лопать хлеба. А ложка у партизана всегда при себе, — сказал начальник разведки.

— Это точно: без ложки нынче, как без автомата, Иван Васильевич. Не смею отказаться от приглашения.

Командиры потеснились, и я подсел к миске с варевом. Когда завтрак окончился, помощник командира Василий Кузьмич Красотин сказал мне:

— Надо поговорить о деле. Приказано перевести тебя в бригадную разведку Шестой партизанской бригады. Назревают события. Там сейчас силы нужны. Речь идет о скором прорыве блокады.

Тимофей Иванович Егоров подошел ко мне, сказал с ласковой грустью:

— Сам понимаешь, не отдал бы я тебя, будь моя воля. Но приказ есть приказ. Не тужи. Вот тебе мой подарок на дорогу: носки и варезки. Носи на здоровье!..

Ночью 16 ноября 1943 года я ушел в деревню Волково Плюсского района, в распоряжение Шестой партизанской бригады. И назавтра стал бригадным разведчиком.

В бригадной разведке было 38 человек, лихих и отчаянных вояк, сорвиголов. Из них — не меньше десятка бывших плюских подпольщиков: в бригадную разведку брали не абы кого — опытнейших, самолучших. Я прижился здесь скоро, хотя и крепко скучал по моему Струго-Красненскому подпольному центру и по его руководителю Тимофею Егорову.

В конце ноября, во время диверсии на «железке», я был тяжело контужен. Придя в себя и оклемавшись, взялся за шлифовку моей пьесы «Черный день» — драмы об оккупации, которая была написана с полгода назад. Бригадное начальство и лично комбриг Виктор Обьедков, поощряя

мою писанину, освободили меня от службы и войны на целых две недели.

Дело спорилось. Пьеса была переписана набело. Мы решили поставить ее. Комбриг затею одобрил. В самодеятельных артистах недостатка не было. Нашлись и режиссеры, и художники, и музыканты, и гримеры. Да еще какие!

Ставили «Черный день» в канун Нового, 1944 года в коридоре школы-восьмилетки в деревне Клескуши Лужского района. Зрителей — партизан и местного народа — было битком.

Спектакль закончился полным успехом перед полночью. Мы отправились домой счастливые и взбудораженные. Шел двенадцатый, последний час старого, кровавого и горемаятного 1943 года. Было снежно, холодно, и радость быстро сменилась тревогой. Кругом, куда ни глянь, пылали, отсвечивали, трепетали и извивались зарева пожаров. Везде — вверху, внизу, справа, слева — зарева. Зарева, зарева... Я насчитал их шестьдесят три...

Небо не только горело, но и гудело: множество самолетов — чужих и наших — кромсали темноту, нагоняя на душу тоску.

Немцы уматывали на запад, превращая Россию в сплошное пожарище.

Всякое бывало на войне. Но все бессердечное и страшное заживало, забывалось. Все человеческое и светлое помнится донныне. И согревает душу, и роднит человека с давно ушедшим от нас. Может, поэтому и не забыть мне такой благословенный случай.

После второго налета на Плюссу 2 февраля 1944 года в деревне Манкошев Луг я повстречался с моим отцом, ко-

торый скрывался от карателей в соседнем лесу. Пять месяцев лесной жизни, без хлеба, без махорки (а батя всегда много курил), без одежды — без всего. Целую осень и половину зимы в земляном бункере. Еда — вареные березовые почки, курево — сушеные ольховые листья...

12 августа 1943 года, когда мы с братом бежали в партизаны, отца арестовали фрицы. И привели в тайную полицию — ГФП. Расспрашивали про нас: что мы делали, с кем общались, куда ушли. Велели найти нас и доложить о нашем местонахождении. Взяли подписку о молчании. И выпустили на волю.

Отец все понял, домой не пошел, а направился в лес, где заболел и застрял в заброшенном бункере чуть не на полгода.

После этого нашу избенку в Плюссе сожгли немцы, а мачеху Марию Прокофьевну и сестренку — Тамару и Ни-ну — угнали в Германию...

Свидание с отцом было коротким. Мы дошли до росстаней за деревней Тушитово. Отсюда начиналась дорога на Лышницы — прямая, как стрела, на все семь километров. Мне надо было догонять ушедшую в Лужский район партизанскую бригаду. Мы обнялись на прощанье и троекратно поцеловались по русскому обычаю. Отец осенил меня крестным знамением. Я подарил ему мои трофеи: пистолет, часы и пачку денег, поклонился в ноги и попросил:

— Скажи мне, батя, что-нибудь на дорогу!

И Николай Григорьевич Григорьев, старый закаленный воин, захлебываясь слезами, стал говорить:

— Ты теперь один у меня, Игорь. Береги себя. Не лезь на рожон, горяч больно, знаю я тебя. Но и воевать за тебя другой не должен, умирать то есть. Неси свой крест. Пом-

ни это, сынок. Я молюсь о тебе. Верю, что не погибнешь. Да сохранит тебя Господь Бог! — сказал и снова перекрестил меня трижды.

— Салют в твою честь, батя! — Я выстрелил несколько раз в воздух. — До встречи, дорогой! Сам береги себя!

И тронул коня. И пока видели глаза мои, отец, офицер русской армии, стоял неподвижно, опершись подбородком о посох, уставившись в невидь, в которую удалялся его сын — разведчик Отечественной войны.

А война бушевала. Вороги отступали. И мы без передышки воевали.

11 февраля 1944 года, поутру, германцы захватили возвышенность перед деревней Островно, что в Лужском районе. Множество немцев наперло. А партизан и солдат (мы к тому времени соединились с действующей армией) было негусто. Поэтому в контратаку бросили бригадную разведку.

Под озерной кручей, слева от деревни, выстроились бригадные разведчики — тридцать восемь ратоборцев. Перед нашим строем появился комбриг. Речь его была короткой и ядреной:

- Знаете, зачем пришел?
- Знаем, Вик Пал!
- Молодцы! Сам поведу!..

В тот день, 1 февраля, мне выпало на долю четвертое, последнее ранение на войне.

Как я радовался концу своей военной стези, когда очнулся в госпитале! Ведь убивать куда страшнее, чем убиваться — а именно это мне отныне предстояло: несколько десятков лазаретов и больниц и восемь операций.

И — видит Бог — со дня Победы до сегодняшнего неутешного дня мне не по себе от жгучей думы: «Вот они —

двадцать семь миллионов (а в действительности намного больше) сыновей и дочерей, и с ними Любовь Смурова и Лев Григорьев, — полегли за Родину, а ты остался в живых!». Но ведь очень даже мог и не остаться. Судьба!

В госпитале на тот раз мне крепко пофартило: я попал под опеку Александры Агафоновой, медицинской сестры милостию Божией, пра-пра...внучке «полудержавного властелина» Александра Даниловича Меншикова.

Ростом, статью и обликом светлейшая Александра Анатольевна как две капли воды была похожа на своего славного пращура. Тот же крупный нос с породистой горбинкой, тот же все понимающий открытый взгляд, то же грустное вдохновенное чело.

Беззаветная сестра милосердия выносила раненых с поля боя еще в Первую мировую войну. Не изменила она себе и в Великую Отечественную: многих спасла и уберегла от смерти. Выходила и меня, вынянчила, выпестовала. И поставила на ноги.

А потом в течение пяти лет с материнским терпением, кротостью и упорством врачевала мой встревоженный бунтарский дух, унаследованный от мачехи-партизанщины, укрепляла во мне человеческое достоинство, веру и сострадание ближнему. И кое-чего ведь добились .

И кто знает, что бы стряслось со мной, если бы не она?..

До страшной Октябрьской революции Александра Агафонова зналась со многими замечательными людьми России и Санкт-Петербурга — писателями, живописцами, актерами, духовенством, медиками, военными. Она любовно рассказывала мне о поэтах Константине Романове, Игоре Северяnine, Сергее Есенине, о художниках Илье

Репине и Василии Максимове, о певце Федоре Шаляпине, о медике Иване Павлове, о генерале Алексее Брусилове, о святом Серафиме Саровском...

Благодаря Александре Анатольевне мне посчастливилось познакомиться с писателями Евгением Федоровым и Михаилом Зощенко, медиком Елизаветой Хлебниковой, актерами театра имени Горького, музыкантами консерватории.

Когда, в середине 1944 года, я появился в доме сестры милосердия, мой художественный вкус оставлял желать лучшего. Со стыдом и благодарностью вспоминаю мой первый урок по музыке.

— Что исполнить? — спросила меня дочь Александры Анатольевны Марина, студентка консерватории, садясь за рояль.

— Сыграйте и спойте «Раскинулось море широко».

— Почему именно эту песню?

— Ее поет Утесов, а этого певца я люблю за душевный голос и за народность. Возьмите хотя бы его джаз...

— Вот оно что, — растерянно пробормотала девушка. В разговор вмешалась ее матушка:

— А по-моему, музыка Михаила Глинки народной джаза Утесова. И душевней. Исполни, Мариша, арию Антонида из оперы «Жизнь за царя».

И Марина стала петь, аккомпанируя сама себе. Потом он спела романс на слова Сергея Есенина «Заметался пожар голубой». Потом пела еще и еще.

Я был потрясен.

С этого дня и мать и дочь взялись за мое эстетическое воспитание самым серьезным образом. Марина, добывая средства к существованию, по вечерам играла в оркестре театра М. Горького. Благодаря ей, двери Большого драма-

тического театра для меня открылись. Водила меня Марина и в Филармонию, а Александра Анатольевна — в Большой театр оперы и балета.

Словом, я начинал постигать разницу между «народностью» советской эстрады и настоящей народностью русской классики и моего народа.

Стихи мои в доме Александры Анатольевны принимались с воодушевлением и сердечностью. И дочь, и мать, и их гости видели во мне искру Божию, приветствовали мою лирику и распространяли ее среди своих высоких друзей. Они вселяли веру в мои творческие силы.

Но и спуску мне не давали, если я писал не то и не так — плохо и серо. Услышав от меня стихи слабые или злые, Александра Анатольевна грустно утверждала:

— Конь вышел из борозды.

Она смахивала нечаянную слезу, гладила мою голову, вздыхала и, как бы думая вслух, тихо говорила:

— Боязно за тебя, сорвиголовушка! — и, помолчав, добавляла: — Спаси тебя Христос!

В августе 1944-го меня демобилизовали «по чистой». С того года я и обосновался в «Петра творенье» — тогдашнем Ленинграде. Штаб партизанского движения «выкроил» мне жилье — девятиметровую комнатку на улице Егорова. А Ленинский райсобес пожаловал пенсию — 129 рубликов.

Буханка хлеба с рук — тридцатка, пять целковых за пару папирос «Беломорканал» и так далее...

А жить хотелось! И, не задерживаясь в Северной Пальмире, я отчалил в костромское село Большое Николаевское, которое находилось в шестидесяти километрах от станции Шарья и в пятнадцати — от районного центра Пыщуг.

В Николаевском временно обосновалась моя матушка, эвакуированная туда в начале войны из Ораниенбаума.

Так начиналась моя мирная жизнь.

На гражданке промышлял охотой в костромских глухоманях, фотографией на Вологодчине, бродил с геологической экспедицией по Прибайкалью, вкалывал грузчиком и строителем во «граде белых ночей».

Осенью 1949 года — с третьего захода — поступил на русское отделение филологического факультета тогда Ленинградского университета, которое окончил в 1954-м.

Университету я обязан встречей с большими русскими людьми, сыгравшими немаловажную роль в моей судьбе, — с преподавателем родного языка Антониной Вильгельминой, писателем (в те годы завкафедрой советской литературы) Федором Абрамовым, с языковедом академиком Иваном Мещаниновым. О них я не волен умолчать.

Антонина Александровна Вильгельмина.

1 августа 1949 года в университетской аудитории на вступительном сочинении я «поплакался» наблюдавшей за «сочинителями» моложавой, но седовласой женщине с живым ласковым взглядом:

— Третий год типу сочинение. Неужели опять наделаю грамматических ошибок и провалюсь? Хорош писатель!

— Да? — только и спросила Антонина Александровна. Это была она.

В первый день благословенной осени я уже слушал ее удивительную лекцию по русскому языку. И с этого же дня стал своим человеком в ее опрятной бедной коммуналке — узкой десятиметровой комнате. Все пять студенческих лет она учила меня, остерегая от житейских соблазнов, пестовала и кормила. Впрочем, у нее находили при-

ют, заступу и кусок хлеба многие студенты и аспиранты. Диву даюсь: как это мы не объели и разорили ее вконец?

Антонина Вильгельминина была невесткой знаменитого русского художника-передвижника Василия Максимова, получила в наследство больше сотни его бесценных полотен. И все это безвозмездно передала Русскому музею. Себе оставила лишь несколько небольших эскизов.

— Да вы толику денег с музея взяли бы, себе на пальто хотя бы, — упрекал я Антонину Александровну.

— Не могу, нельзя брать за то, что принадлежит России и только ей, — отвечала она.

А что же Русский музей? С милой небрежностью упрятал полотна в запасник. «Больно много в них, в этих картинах, посконной Руси и русского духа». Вот ведь как бывает.

Десять лет тому назад, за неделю до своей кончины, Антонина Александровна прислала мне свой преподавательский билет и последний привет: «Сынок! Мне под девяносто. Я на пороге. Передо мною — открытая дверь туда. Мне остается лишь благословить тебя. Знаю, что “с дороги не свернешь и не проклянешь затученное солнце”» (это были две строчки из моего стихотворения «Письмо любимой»). Я плакал над этим прощанием и прощением от благодарности и жалости.

Когда мне горестно, когда на душу найдет разлад и сам себе готов стать чужим, выплывает вдруг из житейского тумана светозарный облик невысокой тонкой женщины с моложавым лицом, притягивающим и все разумеющим синим взглядом, с белоснежной челкой на прекрасном, будто мраморном, лбу. И потеплеет на душе, и устыдишься себя, и покаешься, «в чем был и не был виноват»:

— Простите меня, дорогая Антонина Алексеевна!

Федор Александрович Абрамов.

Я любил этого человека. Говорят, что и он любил меня. Но я не знаю, любил ли он когда-нибудь кого-нибудь. Разумеется, кроме своего творчества.

Писателя Федора Абрамова теперь знает и глубоко чтит не только Россия. О его творчестве и жизни написано немало. Поэтому буду краток — расскажу лишь то, что знаю один я.

Познакомились мы в 1953 году. В то время Федор Александрович был руководителем моего университетского диплома.

На очередной консультации, прочитав черновик моей работы, он заявил без тени сочувствия — спокойно и сухо:

— Худо дело, батенька. Литературоведа из тебя не получится. И что тебе делать, не знаю.

— А я и не собираюсь отнимать у вас литературоведческий хлеб с маслом. Мусолить чужие книги, распиная или вознося их, — не мой удел. Пусть уж лучше распинаят или возносят мои книжки.

— А знаешь, ты, кажется, прав.

— Да уж как не знать...

Через пару часов мы сидели с Федором Александровичем в его большой комнате во дворе университета, и он читал мне начальные главы своего первого романа.

И хотя я был никудышным литературоведом, я понял, что значит роман Федора Абрамова «Братья и сестры». Это было так глубинно, цветисто, ошеломляюще ново и честно, что никаким «социалистическим реализмом» не пахло. И я с первых черновых глав уверовал, что в России нарождается новый великий писатель.

Уже за одно то, что он был первым, кто мужественно и могуче противопоставил себя бабаевским, ажаевым и

иже с ними, — честь и хвала ему! Но он был, по мощи голоса, первым и в решении темы деревни и селянина, то есть родины. Его глубь проникновения в психологию русского человека, его слегка затяжеленный покаянный юмор, его живой искристый русский язык, его нещадная правдивость, вся система ярчайших образов и картин природы — все незабываемо и значительно.

Уже после двух-трех книг, выпущенных зарубежьем, Федора Абрамов оценили по заслугам.

«Вы — лучший современный писатель земли», — писало ему крупнейшее издательство Англии.

«Вы — самый значительный прозаик наших дней», — сообщало ему американское издательство.

Много, очень много таких хвалений.

А в стране «зрелого социализма» «Известия» в это время громыхали статьей жителей деревни Верколы Пинежского района Архангельской области: «Куда ты зовешь нас, земляк?». А в статье той — злобная отповедь творчеству Федора Абрамова. И подписи: «доярка А., свинарка Б., хлебороб Х., кузнец У., овощевод И.».

За долготелее наше знакомство Федор Абрамов прочитал мне, возможно, одному из первых, немало своих произведений. Вспоминаются «Поездка в прошлое», «Жила-была семужка» (тогда еще в первой редакции, с очень резкой натуралистической концовкой), «Вокруг да около», пьеса из жизни ученых (по-моему, слабая пьеса), «Безотцовщина», «Пролетали лебеди», «Медвежья охота»...

О рассказе «Однажды осенью» (одном из первых, если не самом первом рассказе Федора Абрамова) поведаю подробнее.

Как-то, в конце октября 1961 года, отправились мы с Фе-

дором Александровичем гонять зайцев. На хуторах Гречухина, разбросанных по берегу Кима-ярви — Комсомольского озера, жила-была моя добрая кума Полина Захаровна Саввина, переселенка из Рязани. На просторном пригорке, недалеко от ее жилища, стоял еще один дом. В нем поселилась молодая вдова Шура, мать пятилетнего мальчугана.

До Гречухина от станции Громово было километров восемнадцать, и мы с большими рюкзаками, ружьями, смычком гончих — Идолем и Арфой — по расквашенной и разгромленной нашей сельхозтехникой грунтовой дороге, почитай, вдвоем на двух ногах (и у Федора Абрамова нога, и у меня ноги были стреляны в войну) добрались до пристанища лишь к вечеру.

Дом кумушки был на замке: она еще не вернулась из колхозного телятника. На крыльце перед запертой дверью, сиротливо съживившись и по-птичьи нахохлившись, сидел посиневший от холода малыш.

— Ты — кто? — спросил Федор Александрович ребятенка.

— Шурин сын.

— А почему ты не греешься у себя на печке, а зябнешь на этом крыльце?

— Так в избе один боюсь.

— А где твоя мама?

— Где-где... Загулявши она на стороне. Вот и жду тетю Полю али ее Зину, — сказал, и захлопал носом, и заплакал тихо, покорно и отрешенно.

Я знал, где хозяйка прячет ключ. И мы — все трое — вошли в большую, жарко натопленную кухню (у финнов кухни были не нашим чета). Вскоре и Полина Захаровна с дочкой Зиной вернулись домой. А за ними и Шура в одностороннюю пожаловала.

— Завернула за сыном вот, — скороговоркой пропела она.

Накрыли стол. Мы привезли из города пару бутылок «старки». Я переглянулся с кумой, и та поставила еще один стакан, пододвинула к столу лишнюю табуретку.

— Садись, Шура, гостей будешь. Мой кум красивых любит, транжирить на красоту не скупится, угостит — я те дам. Да и Федор Александрович чаркой не обнесет.

— Ну, раз такое дело...

Часом позже к Зинаиде пожаловали ухажеры — тройка парней-механизаторов. Заиграла гармонь. Словом, скучать было некому и некогда.

Уже за полночь, укладываясь в постель, я предложил:

— Давай напишем по рассказу обо всем этом. Любопытно, что у нас получится?

— Идет!

Через неделю Федор Абрамов читал мне свой замечательный рассказ «Однажды осенью». И я был глубоко взволнован зоркостью и пронизательностью автора, его умением отобрать самое-самое в ворохе фактов и деталей, его способностью возвысить обыденную прозу жизни до сверкающей поэтической высоты... Слава Богу, что я тогда был занят стихами и не набил себе шишек на прозе!

Читал Федор Александрович только написанное им от руки — до машинописи. Страницы рукописи были исполнены твердым, четким, несколько разгонистым почерком. Правок в рукописях почти не встречалось. Голос писателя во время чтения звучал негромко, но четко и выразительно, я бы сказал, артистично.

Когда я делал какие-либо замечания по тексту, автор как бы пропускал их мимо ушей. Но при доработке рукописи нередко учитывал эти замечания.

Немало поездили и ходили мы с Федором Абрамо-

вым по земле нашей. Возил я его и на мой Гришин хутор, и в Белоруссию, и на Карельский перешеек к моей куме.

Как-то в мае заявили мы порыбачить на озеро Мустанлахти-ярви (Щучье озеро), которое лежало в полутора верстах от мызы Полины Саввиной. Мы поймали на спиннинг штук двадцать довольно увесистых щук, которые после нереста хватали блесну очень даже усердно. При поклевке я бросал слово: «Сачок!». И надо было видеть, как проворно и ловко орудовал им Федор Александрович: ни одной не упустил.

Ночь мы коротали у костра. Почти три часа подряд в ту ночевку мой напарник пел частушки, одну забористее другой, не повторившись ни разу. Ей же ей, он пропел их не меньше сотни. Такое я слышал впервые.

Вокруг и около Федора Абрамова вращалось и мельтешило немало литературного и еще больше околотитурного люда, который курил ему фимиам. Но в его доме, где бывал довольно часто, я не встречал никого, кроме тещи Федора Александровича да его брата Василия Александровича, очень милого и тихого сельского учителя.

Федор Александрович Абрамов был невысок ростом, ладно сложен, в движениях нетороплив, косолапил раненой ногой. В разговорах — всегда немногословен, часто насмешлив, говорил без жестикуляции, негромко, веско и убедительно, так что с ним трудно было не согласиться.

Глаза у него были карие, печальные, задумчивые, слегка раскосого разреза. На высоком и очень широком лбу писателя таились горестные складки. Рот был большой, тонкогубый и тоже грустный. На смуглом лице нечашье, но глубокие оспины...

Иван Иванович Мещанинов.

БСЭ сообщает:

«Мещанинов Иван Иванович (р. 1883) — советский язы-

ковед и археолог, академик (с 1932), Герой Социалистического Труда. Был академиком-секретарем Отделения литературы и языка Академии наук СССР (с 1934 по 1950). Исследованию урартского (халдейского) языка и письменности с позиций Н. Я. Марра посвящены первые языковедческие работы Мещанинова. С конца 20-х гг. он стал пропагандистом вульгаризаторской немарксистской лингвистической теории Марра. С середины 30-х гг., отходя от некоторых частных взглядов и методологических приемов Марра, продолжал вместе с тем развивать основные положения т. н. «нового учения» о языке и прежде всего немарксистскую «теорию стадильности» («Общее языкознание. К проблеме стадильности в развитии слова и предложения», 1940). убедившись в бесплодности своих попыток найти какое-либо морфологическое или синтаксическое обоснование стадиям развития языка, Мещанинов перенес проблему стадильности в область категорий мышления, которые он произвольно включил в язык и назвал «понятийными категориями» («Члены предложения и части речи», 1945, «Глагол», 1948).

В опубликованном в 1950 труде И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» вскрыта полная несостоятельность и немарксистская сущность созданного Марксом и развивавшегося Мещаниновым «нового учения о языке» и положено начало подлинному внедрению марксизма в языкознание. После 1950 Мещанинов, признав свои ошибки и преодолевая их, отошел от вопросов общего языкознания и вернулся к исследованию урартского (халдейского) языка с позиций советского языкознания» (Большая Советская энциклопедия. 2-е изд. М., 1954. Т. 27. С. 401).

Меня обескряливали и вминали в землю некомпетентность, абсурдность и вредоносность идеологических «на-

правляющих». Горький тому пример — творческая судьба почтенного лингвиста академика Ивана Ивановича Мещанинова.

После нелепого скрещивания языкознания с марксизмом, что выразилось в плоде «Марксизм и вопросы языкознания», Ивана Мещанинова вызвал в Кремль «корифей всех наук».

— Товарищ Мещанинов, вы читали работу товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания?»!

— Да, товарищ Сталин.

— Вы, товарищ Мещанинов, конечно, поняли всю пагубность вашей антимарксистской теории языка. И вы, естественно, готовы изменить свои взгляды. Когда вы заявите об этом публично?

— Я, товарищ Сталин, четверть века был сторонником своей теории. И переделаться сразу не смогу.

— Все ясно!..

На Ученом совете филфака, где его громили все, кому не лень, принуждая к покаянию, Иван Мещанинов только и сказал:

— Господи, как много в наш век Добчинских и Бобчинских!

И вот у студентов экзаменационная сессия. В нашей «пятой русской» группе — последний экзамен: «Марксизм и вопросы языкознания». В моей зачетке — пять пятерок. Нужна последняя, чтобы получить 25 % надбавки к стипендии. К экзамену поэтому готовлюсь не в шутку, а серьезно.

Нас экзаменует сам академик Мещанинов. Я взял билет и света Божьего не взвидел: первый и второй вопросы как вопросы, а третий, как наваждение: «Критика товарищем Сталиным теории Мещанинова».

Само собой как-то вышло — на два вопроса ответил, а на третий отвечать не стал. Сказал:

— Иван Иванович, я не знаю ответа на третий вопрос, — и сунул злосчастный билет в кучу уже отэкзаменованных бумажек.

— Как же так? Хорошо отвечали на два первых вопроса. Да и пятерки в матрикуле за этот семестр по всем предметам. Как же так?

— Я не знаю ответа на третий вопрос, профессор. (И действительно, что я мог сказать о той бредовой «критике».)

— Пять да пять да ноль — десять. Делим на три и получаем... Короче говоря, «посредственно» — три балла. Очень сожалею.

Троечникам тогда не платили, и я на целых полгода остался без стипендии. Но воистину нет худа без добра. В начале месяца я извлек из почтового ящика конверт без обратного адреса, опущенный, по штемпелю, на Главпочтамте. Мой адрес был написан от руки печатными буквами. В конверте лежал двойной тетрадный лист в клетку, а в нем — десять сторублевых купюр. И так было в начале каждого месяца в течение целого семестра. Ни меньше, ни больше.

Уверен, что посылал эти деньги не кто другой, но академик Иван Иванович Мещанинов.

А вообще-то пять моих университетских лет — это пять ненаписанных книжек стихов. И я не совсем уверен, стоило ли так упрямо стремиться в его стены. Яркие личности, осветившие и обогревшие мою душу в пору студенчества, остались бы светоносными для других счастливых. Но что бы я делал без них, ума не приложу.

Женился я в тридцать и не прогадал: не опоздал и не поторопился. Ленинград никогда не был мне домом. И теперь, на целых десять лет, я обрел пристанище в белорусском городе Городке под Витебском. В собственном доме «бати Васи» — моего тестя Василия Захарова — мне жилось, как у Христа за пазухой. Это были самые счастливые и удачливые годы мои.

Сам Городок, речка Горожанка, бегущая у нашего дома под крутым склоном, добрый десяток окрестных озер, Воробьевы горы — стали мне своими сразу. Так же как, волею судьбы, стал батей Василий Ильич.

Не заметить этого внешне неброского белоруса было трудно. Жило в нем нечто такое, что привлекало внимание, располагало к себе, пожалуй, даже притягивало человека, заинтересовывало, обнадеживало. Не берусь утверждать, но, возможно, секрет притягательности заключался в его положительном и мощном биополе. Впрочем, встречались в Городке граждане, которые питали к «кулаку» злобу. Наверное, порождали это античувство глупость и зависть.

Невысокого роста, коренастый и плотный, Василий Захаров имел темные волосы и светлую голову. Глаза у него были голубые, большие и пронизательные; нос несколько подкачал — курносоватый и недостаточно внушительный для его серьезного лица. Зато лоб — чистый, слегка выпуклый и высокий, лоб думающего человека — стоил многого. Да и все черты его лица — губы, подбородок, щеки — делали облик своеобразным, очень славянским и славным.

А как хорошо пел батя! Чаще всего это происходило где-нибудь в Мошниках, в лесах бывшего партизанского края, на озере Гвоздок, или Березица, или еще каком, у ночного рыбацкого костра.

Мы принимали по чарке под уху, и песняр заводил берущим за живое лирическим тенором мою любимую «Песню бобыля»:

Ни кола, ни двора,
Зипун — весь пожиток...
Эх, живи — не тужи,
Умрешь — не убыток!..

Над костром мелькал козодой и мельтешили летучие мыши, в прибрежных кустах гукала выпь, в озере всплескивали рыбы; сама ночь потаенно вздыхала, может — во сне, а может — в бессоннице. А еще были звезды, тени, всхлипы росы, трепет листвы и тяжелые шаги какого-то крупного зверя на тропе.

Все звуки и песня у костра сливались во мне воедино, преобразали меня, наполняли благодарными слезами.

Мой тесть не только был поклонником пения, но и неумимым тружеником и мастером-домоводом. Нельзя было не зауважать этого хозяина, ничуть не потерявшего (в наш-то век!) вкуса к семье, к дому своему, к собственной душе. Под стать господарю была и его супруга Ольга Александровна — умница, тихоня, работунья и, конечно же, красавица. Да, крепко мне повезло!

Дом, где я стал своим человеком, был просторным, удобным и красивым. Его придумал, и спроектировал, да и построил во многом своими руками сам батя Вася. В Городке таких хором нынче немало: все они — копии с дома Василия Захарова.

К дому примыкал приусадебный участок с хозяйственными постройками, огородом, садом и цветником, в котором росли действительно прелестные цветы, например роза «Глория». Нет нужды говорить, что все: и дом, и в

доме, и строения во дворе, и сад с огородом — было умело и любовно обихожено.

Василий Ильич сделался моим путеводителем по чудо-земле, стал первоучителем ее языка и вдохновенной поэзии. Это с его легкой руки я всем сердцем прикипел к *Беларусі* и навсегда полюбил *беларусау* — славный славянский народ.

В пятидесятые годы трудно было поверить в мою поэтическую звезду, но мой тесть поверил:

— Не слушай слабаков и маловеров, не бойся далекушей дороги. Трудись — добивайся. Я с тобой.

— А если прогорим?

— Не похоже: не тот ты человек, да и я не лыком шит. Вижу, чего хочешь и для чего. Чую, делу служишь. Читал я тебя. Эк куда ты загадал!.. Прогореть немислимо. Тут можно разве что сгореть. Да ты не из робких. Дерзай!

В Городке я работал обычно по ночам: садился в полночь и до пяти утра сочинял. Худо-бедно, а в городокскую творческую страду я написал пять книжек стихов да переводов сколько.

Хорошо творить ночью: ты наедине сам с собой, мысли четкие, слова значимы, крепкий чай, как награда, тишина и тьма за окнами полна смысла, и трижды каждую ночь — концерт певней. Вообще-то из многих обожаемых пернатых певцов мне милее всех других иволги и коростели. Но, не только: с детства питаю слабость к петушину пению. А в Городке — кочет на каждом насесте. И все поют, славя грядущий свет. И ни одно «кукареку» не похоже на другое. И силы разной, и азарта разного. Разные петухи, одним словом. Один — тонко заходится: хорошо, да уж очень ординарно, «без изюминки»; другой — и подходяще шуманет, но хрипловато: как-то тускло для достойного про-

славления зари; зато иной — как гаркнет, будто базилопротодиакон на молебне: ночь шарахнется, темень будто поредет, сердце возрадуется!

Я так часто просиживал ночи за письменным столом, что знал дома, где жили выдающиеся «солисты». И прислали мне белорусские сябры по перу приличный гонорар за переводы. С помощью тех денег заполучил я желанную забаву. И принес домой. Спросите: как это? Какой хозяин или хозяйка продаст хорошего петуха? Очень просто: на рынке красная цена петуху была тогда тройак, а я за каждого Петю отвалил по четвертному билету.

Бабушка Ирина Егоровна мою покупку не одобрила:

— Знаю я тебя: не торгуясь, поди, взял? Небось, рублика по три отвалил за петуна?

— В этом роде что-то, но торговался, да еще как! Так что все в полном порядке.

— Почто сразу четыре? Куда нам столько? Да и где ты такую мелюзгу выкопал? В йих и весу-то всего фунта по два, и то если с пером да с потрохом.

— Забыла, что ли, к нам Федор Абрамов на днях будет. Надо же угостить дорогого друга. А что петухи не с индюка ростом, так уж какие есть. Надо их побережь до приезда гостя. — И я расцеловал бабулю.

— До, до! Ладно уж, если так случай, неси их в дровяной сарай. Нонешний березень теплый. Пушай там сидят. В курятник не пушу: биться будут с нашим кочетом.

И я понес «солистов» в дровяной сарай, предварительно пронумеровав им спины и присвоив имена: 1 — Певень, 2 — Певел, 3 — Петел, 4 — Пет. На вид они были весьма невзрачны: мелкие, белый, правда, с шикарными гребнями и весьма внушительными гнутыми шпорами. А кроме гребня и глядеть не на что. Но так было только днем.

О полночь в сарае вдруг застучало, забарабанило, забахало! Мне сначала показалось, что обрушилась поленница дров. Вслушался, а это хлопают крылья. И что тут пошло! Едва подав глас — не голос, а именно глас — запевала, как вслед за ним ударила, тоже не безгласая, тройка:хватила почти одновременно в шесть крыльев и в три глотки!

Четыре петуха, не желая уступать пальму первенства, выхвалялись друг перед дружкой — бушевали, заходились, орали, голосили с полчаса. Но это были лишь первые петухи — глашатаи начала новых суток.

Через пару часов все повторилось. И хотя пенье длилось не так долго, зато что это было за ликование! Отродясь не слыхивал такого. Да и вы вряд ли слышали. И все-таки это были только вторые петухи, «петухи зари», как их называли встарь.

Третьи петухи привели меня в полный восторг, чего не сказал бы про домочадцев. На заре в сарае разлилось половодье голосов. Диву даюсь, как это они ухитрились устроить такой концерт? Впрочем, надо понять: захотел быть первым — ухитряйся.

Прошло несколько дней, и ранняя весна дала дикий крен: ночью ударил крепкий мороз, а наутро все завалило снегом. Снова стало зимно, впору на печку залезать. Но недаром говорится: охоту тешить — не беду платить. Впрягся я в дровянки и отправился на мельницу в Третьяки, ловить налимов. Льда на реке там не было.

Плетусь по заснеженной дороге, и хоть бы глаза мои не глядели: и там и тут на полях, целыми косяками, валялись птицы — грачи, скворцы, чибисы, жаворонки... — дело рук постылой зимы, захватившей власть у простодушного марта. И вдруг впереди — пара аистов! Лететь уже не мо-

гут, совсем оголодали и обессилели. Похоже, «доходят». Бросил я санки, давай ловить неудачников. Им от меня не скрыться, а мне их не поймать. Снегу — чуть не до пояса, тут не шибко разбежишься. А все-таки одну птаху настиг. Клюется, дуреха. Пришлось связать и в санки уложить. Какая уж тут рыбалка: повез птицу домой. Другая поковыляла за санками. Так и до нашего двора добрались. Аистов батя определил в курятник. Он-то знал, что делает. Да и кто бы ему возразил. И я не сидел сложа руки: намял вареной картошки, хлебца в нее покрошил, отрубями присыпал и отнес пленникам. Аисты успели очухаться в тепле, почуяли съестное, подошли к корытцу и — отнюдь не травоядные птицы — стали уплетать растительный корм. Воистину голод не тетка.

Василий Ильич запер курятник, утешил меня весело:

— За эту пару буселов¹ будь спокоен: до вешнего пира дотянут на бульбе.

Я согласился:

— Непременно дотянут, куда деваться. Не отметить ли, батя, этот факт?

— А почему бы и нет? И мы отметили!..

В один прекрасный апрельский выходной я и тесть заглянули на Святое — поблеснить и на мормышку попытать рыбацкого счастья. Лед на озере был жухлый, конечно, но по утреннику держал надежно. До солнцеграя мы неплохо помормышничали: семь фунтов плотвы и окуней да шупака² на четыре фунта поймали.

Вернулись из похода, вошли во двор, а там... суший скандал. Квохча и охая, носились перепуганные курицы.

¹ Аист (белорусск.).

² Щука (белорусск.).

Их законный супруг, лишенный своего пышного хвоста, сидел аж на печной трубе и вопил истошно. А возле колодца выясняли отношения вырвавшиеся из заточения четыре моих протеже. Они бились молча, самозабвенно и нещадно. Вокруг драчунов носился белый пух, на земле валялись выдранные перья, из шикарных петушиных гребней лилась кровь только что не рекой. Словом, шел самый что ни есть решительный бой.

Бабушка Ирина Егоровна сидела прямо на пороге настежь распахнутого деревянного сарая, терла сильно поцарапанные и расклеванные руки и голосом, перепуганным до хрипа, урезонивала вошедших в раж дуэлянтов:

— Хрысь! Хрысь!.. — наверно, вместо «брысь!» протанывала она.

Василий Ильич выпустил из курятника аиста и успокоил встревоженную тещу:

— Бусел мигом наведет порядок!

Так и случилось. Аист деликатно и степенно, но крепко поколотил хулиганов и загнал их в деревянной сарай, отлучив от рябушек и хохлаток. После этого случая все пять петухов, под присмотром одного из аистов, будут мирно пастись во дворе, не помышляя о стычке.

На этот день у аистов был рыбный стол, и они закусывали с явным удовольствием.

До теплых дней так и сидели аисты в курятнике на бульбе. И опускали свои почтенные носы в корытце с едой только после того, как все куры накушаются. Впрочем, пищей аистам была не одна бульба: крыс в курятнике поубавилось чуть не до нуля. Может, бестии сбежали от красноклювых страшилищ, а может быть, попали в их клювы, и увы и ах...

Вскоре после возвращения весны из отступа и освобожд-

дения аистов из курятника батя Вася не дюже весело втолковывал мне:

— У моей тещи — бессонница, у твоей тещи — мигрень, да и соседи того. Кроме тебя да меня, все в обиде на артистов: шуму больно много от них по ночам. Так что капеллу придется закрыть. А певунов куда хошь девай. Такое дело.

Побранился я (и не только про себя), посовал в корзинку ретивых петухов и возвратил их прежним владельцам. Иду и рассуждаю сам с собой:

— А что поделаешь? Не везти же птиц в большой город в нашу девятиметровую комнату?

К слову сказать, Федор Абрамов в тот год действительно пожаловал в Городок... спустя три месяца. И недель пять-шесть мы с ним жили в глухой и ласковой веске¹ Бабарыки в Езерищенском районе Беларуси.

А время брало свое — текло. Добралось оно и до моего городокского возвышения: осенью 1964 года «по семейным обстоятельствам» я остался без Городка — обездомел и осиротел. Я отчалил из милой *Беларусі* куда глаза глядят, всхлипнув прощальными виршами:

Беларусь

Василию Захарову

Говорят про тебя, что ты — Белая Русь.
Так ли, нет ли — судить не берусь.
Но тобой причастился, голуба,
И зажгла ты Руси однолюба,
Одарив неразменной казною —
Песней «Бульбой», утехой лесною,

¹ Деревня (белорусск.).

Пригожуньей моею жадобной,
Простотою твоей бесподобной.
Приоткрыла лицо вековое:
Ни покоя, ни слез — роковое.

В воспитании своего сына Григория мы не были оригинальными: сплавили чадо на попечение тещи и тестя в Городок. Он там и жил с двухлетнего возраста до окончания белорусской средней школы.

Сколько походов в окрестные поля и отдаленные леса мы совершили с моим сыном! Сколько дней провели с удочками на бегучей зеркаловодной Горожанке и на пригородокских озерах — Луговом, Ореховском, Щербаковском, Озерках, Святом, — озерах, тогда почти не замутненных плодами техреволюции, самой непредсказуемой и нещадной для природы и души пагубы!

Произведения великих поэтов в нашем доме не переводились, и мы очень часто — то по книгам, то наизусть — читали вслух. И не только читали, но и сами напару с сыном довольно часто слагали стихи. Поэтому хоть одно из ранних стихотворений Гриши Григорьева я решаюсь привести. Написано оно было на берегу Горожанки 3 сентября 1962 года (автору тогда было шесть лет).

Река поет

Гуляют тени на горе,
Внизу вода поет.
Я ужу рыбу на заре,
А рыба не клюет.
Ни уклея, ни пескари —
Не ловятся никак,
Зато я греюсь от зари!
А вы могли бы так?

В это же время Гришкой была придумана трагикомедия «Происшествие в огороде»: Червяк женился на Лопате. Рассеченного молодожена склевал Петух. Хорошая бабушка посадила жадюгу Петуха «в кутузку», а злую жену Лопату вонзила в землю «для очищения от греха».

У меня от этих сочинений сына было такое впечатление, будто вдругорядь я одарен детством...

Окончив среднюю школу, в том же 1973 году сын поступил на морской факультет ныне снова Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии. И через шесть лет (в 1979 г.) стал врачом на подводной лодке, которая базировалась во Владивостоке.

Служилось сложно, трудно, а иногда и лихо. За пять лет службы (1979-84 гг.) – три аварии на подлодке и три ЧП. Но удручала не столько рискованная служба, сколько укоренившаяся в начальственной среде пагуба прислужничества. С чем, разумеется, молодой лейтенант, с детства возвращенный на честности, человеколюбии и свободомыслии, примириться никак не мог. За это и впал в немилость у своего начальства. Приходилось терпеть. Но уныния не было. Тому пример – письмо сына ко мне.

«7 августа 1984 года, Владивосток.

Дорогой отец! Здравствуй! Твое обещанное письмо пока не получил. И потому сам решил тебе написать.

Новостей у меня нет. Я по-прежнему подвешен между несколькими столбами. Но это меня несколько не удручает. Ведь я умею не замечать этого. Мне легко и спокойно, светло и радостно. Я знаю: происходящее сейчас – лишь «репетиция оркестра», не больше и не меньше. Единственное, что меня волнует, – когда от вас подолгу нет писем. Наши бои еще впереди.

Сегодня, пользуясь многотысячным расстоянием между нами, я хочу сказать отцу, что чем дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи. Я их часто перечитываю, многие из них для меня, как молитва. В них истинная боль и крик вещей русской души! Кто из нынешних поэтов постиг в такой глубине истоки Русской земли? В его стихах сплав времен, их неразрывное единство. Повторяю, стихи его, как молитвы, и сами собой входят в память. Теперь я знаю: отец прежде других, в одиночку, начал тот бой за наше будущее, о котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки будят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим бравурным маршам.

То, что я написал, – это мое глубокое убеждение. И сообщить об этом я должен был с края света, с беспредельных берегов земли Русской.

Крепко целую тебя. А ты за меня поцелуй бабушку.

Твой сын Григорий Григорьев».

Еще в бытность курсантом академии Григорий серьезно увлекся психиатрией, психотерапией и биоэнергетикой человека – элементами душеведения. Заниматься этими премудростями он продолжал и на флоте. Изучал тибетскую и индусскую медицину. Читал недозволенные по тем временам иностранные книги по психоаналитике, гипнотерапии, телекинезу, биоэнергетике. И достиг хороших результатов в лечении людей с нервными и душевными недугами.

После окончания интернатуры по психиатрии и успешной практики он стал начальником отделения психиатрии и психотерапии Центральной поликлиники Тихоокеанского флота, где прослужил три года.

Нетрадиционные методы лечения, безлекарственная терапия, неформальный подход к хворающим, наконец, высокий эффект исцеления (за три года сын полностью или в значительной мере избавил от недугов, иногда тяжелых, а то и тяжких, более трехсот человек) принесли ему любовь больных и ненависть влиятельных завистников. Чего только не инкриминировали молодому лекарю-чудодею: нарушение уставов, разложение офицеров, порчу больных, психические заскоки и, наконец, кришнаизм и шпионаж. В немаловажную вину ставили и его богоискательство.

В 1984 году, полуживой, однако с неукрощенным духом, несломленной волей и неугасшей верой, сын был выпихнут с флота – демобилизован.

Вернулся к своей матери, на Выборгскую сторону родного Ленинграда. К работе по психотерапии не пущали бдительные партдяди, и два года он был участковым терапевтом в районной поликлинике. Наконец, в 1986 году, ему удалось устроиться психотерапевтом в больницу Академии наук СССР. В течение двух лет (1986-1988 гг.) сын прошел специализацию по гипнотерапии в Государственном украинском институте усовершенствования врачей (г. Харьков). Окончил он и полный курс обучения наркологии методом кодирования и стрессотерапии у выдающегося нарколога Александра Довженко в Наркологическом центре (г. Феодосия).

С 1988 года Григорий Григорьев является первым вице-президентом и главным специалистом Международного института по изучению резервных возможностей человека. Успехи Института налицо: за четыре года его существования больше двадцати тысяч человек были избавлены от алкоголизма, курения и наркомании. Десятки тысяч людей прошли курс саморегуляции и обрели доброе здравие.

Я уже говорил, что сын пишет прозу. В 1991 году у него вышли сразу две книги: «Сказка про Алю и Аля» и сборник рассказов и повестей «Накануне чуда». Мне эти книги нравятся. Буду рад, если и вам они приглянутся и придутся по сердцу.

Таков мой Гриша, которому 23 декабря 1991 года исполнится тридцать пять лет.

2 сентября 1956 года (когда мне стукнуло тридцать три) псковская областная газета напечатала три моих лирических наброска. И это было, как первый поцелуй с любимой. А в середине 1991-го для своего 20-тысячного номера та же «Псковская правда» заказала мне стихи, которые, конечно, не напечатала. Бот они:

Юбилярше

Тебе, родимый орган, стих:
Ведь это ж надо ж — двадцать тысяч!
Но сочинителей твоих
Давно пора бы крепко высечь.

Начать с ответственных мужей,
Чтоб нос по ветру не держали,
Спросить: «Не много ль нарожали?
Не жжет ли где от партвожжей?».

Не придержал бы я словца,
Ругая стиль и слог увечный,
Не жалуя «ура-певца»,
Да сам, увы, не безупречный...

Скажи: за двадцать тысяч раз
Как ты вконец не разорилась?
Вокруг тебя ведь столько нас
— Писцов — кормилось и поилось.

Не сетуй, хворая, что я
От умиления не таю —
Вокруг да около витаю,
Надежду на «авось» тая.

Стремясь в заоблачную высь
(Куда деваться — век таковский),
Хоть с кем грехи, хоть как зовись,
Лишь не останься «правдой псковской»!

Как видите, за тридцать пять лет мое отношение к «родимому органу», да и отношение «Псковской правды» ко мне, обезрадужело. И, наверно, это стихотворение есть мой последний поцелуй на ее холодном лбу.

По-настоящему я взялся за стихи с 1940 года, после того как уяснил, что хочу, на что надеюсь, без чего мне и жизнь не в жизнь. А с 1956-го Поэзия всецело завладела моим существом. Люблю ее и я — однолюб: ни на что не променял бы!

С первой книжкой стихов мне просто повезло. Нежданно-негаданно на моем самостоятельном поэтическом пути повстречался большой одухотворенный человек, к тому же умный и лиричный — сотрудница издательства Татьяна Владимировна Боголепова. И «Родимые дали» (Лениздат, 1960) увидели свет.

Вот как это произошло. Получив «полный отлуп» за «русопяительство» и «сомнительный идеологический крен» в моих стихах от очень партийного члена СП тов. Ч., я приплелся в Лениздат за рукописью. Но в ворохе бумаг ее не нашли, и мне было указано заглянуть через недель-ку-другую.

Когда папка с моими стихами отыскалась, ее стала перелистывать старший редактор редакции художественной литературы Татьяна Боголепова. Стихи ей пригляну-

лись. Она унесла рукопись домой и прочла ее. Так, вместо возврата, со мной был заключен договор на выпуск книги.

Мало того, редактором моего первенца, его крестной стала деликатная, умная и опрятная Татьяна Владимировна. Хорошо работалось с такой помощницей! Она учила, но не поучала, хвалила, но не подхваливала, доказывала, но не указывала... Воистину мир не без добрых людей.

Теперь у меня опубликовано восемнадцать книжек лирики и поэм. А итога не получается. И Бог с ним, с итогом! Впереди непочатый край многотрудной, сверхответственной и прекрасной муки – «Кровью чувств ласкать чужие души», как завещал поэтам великий Сергей Есенин. И я, как могу, стараюсь следовать непреложному закону Поэзии: верой и правдой Музе служить. Но брезжит мне вечерняя заря.

В жизни я порядочно переводил: больше для пропитания, но и для утехи сердца случалось переводить стихи.

Прозой тоже иногда маюсь. Это чаще всего рассказы. Но проза хоть и родная сестра поэзии, да не совсем то, что стихи. Проза – дело весьма сложное и хитромудрое. Мой сын Григорий, неплохой прозаик, услышав слабые мои вирши, непременно подтрунит: «Стихи у тебя сегодня, папаня, прихрамывают, не иначе, вчера на прозе споткнулся». Наверно, он прав: на прозе даже очень нехитро оступиться. Впрочем, на поэзии оступиться не хитрее...

Со вздохом облегчения признаюсь: журналы меня не забаловали и не обременили. Журнальные корректуры своих стихов, которые пофартило мне держать, мог бы пересчитать на пальцах (не прибегая к пальцам ног). Так что на перегрузку периодикой мне грех обижаться.

Нет причин сетовать и на перегрузку популярностью, и ничего: пою себе и в ус не дую.

Один критик (большинство других помалкивает) окрестил меня: «Поэт последней деревни». И хотя в это страшно и невозможно поверить, но две трети наших весей и сел убиты вчерашней и нынешней действительностью, а уцелевшие сегодня деревни дышат на ладан. И не понимать этого – всем нам – нельзя! Никак нельзя!!!

Подбивая бабки, не могу удержаться от тяжелого вздоха. Наши чувства притупились и наболели от ажиотажа стихотворных репортеров, от амбиций и заявок на главенство и лидерство в художественных процессах, от хрипучей и визгливой шушеры, от красной, желтой и зеленой горлодерщины, от авангардизма, от бесноватой маскультуры. И, как никогда, людей потянуло к Пушкину, Кольцову, Клюеву, к «Коробейникам», к «Барыне», к «То не ветер ветку клонит», к опере «Жизнь за царя»: кого – к кому, кого – к чему. Но непременно к настоящим провидцам и певцам ныне неслыханно поруганной и обиженной, обожасимой земли Русской, ее обкраденного – осовеченного и обыностраненного – Глагола и Напева.

Услышьте меня!

В человеке я дороже всего ценю веру, любовь, доброту, красоту и талант.

В Поэзии мне ближе всех Сергей Есенин, Александр Блок, Николай Рубцов – исповедующиеся исповедники.

Поэму Александра Твардовского «Василий Теркин» знаю наизусть.

Из ныне здравствующих поэтов крепко люблю Глеба Горбовского, Светлану Молеву и Владимира Соколова – Поэтов, а не стихотворцев. Да будут они благословенны!

В прозе самые чтимые писатели Николай Гоголь, Федор Достоевский, Николай Лесков, Михаил Пришвин, Фе-

дор Абрамов, Константин Воробьев, Василий Белов, Виктор Астафьев, Владимир Личутин и, конечно же, первейший из современников – Валентин Распутин.

И еще одно, последнее, признание. В жизни и литературе я не мыслю себя без России, без боли и гнева, ныне пренебрежительно прозванных «эмоциями». Время и безвременье понимаю, как ни чем и тем более ни кем не сокрушимый сплав будущего, настоящего и прошлого. Все перемелется.

1991, Псков

Все перемелется

Автобиография

Текст – Игорь Григорьев

Предисловие – А.Ольхин

Верстка – А.Селенкова, А.Ольхин

Фотография из семейного архива Григорьевых

Подписано в печать 20. 02.2014.

Формат 60 x 84 1/16. Гарнитура «Book Antiqua».

Бумага офсетная. Печать цифровая. Усл. печ л. 33,0.

Тираж 100 экз. Заказ № 42703

Отпечатано в типографии «Onebook.ru»

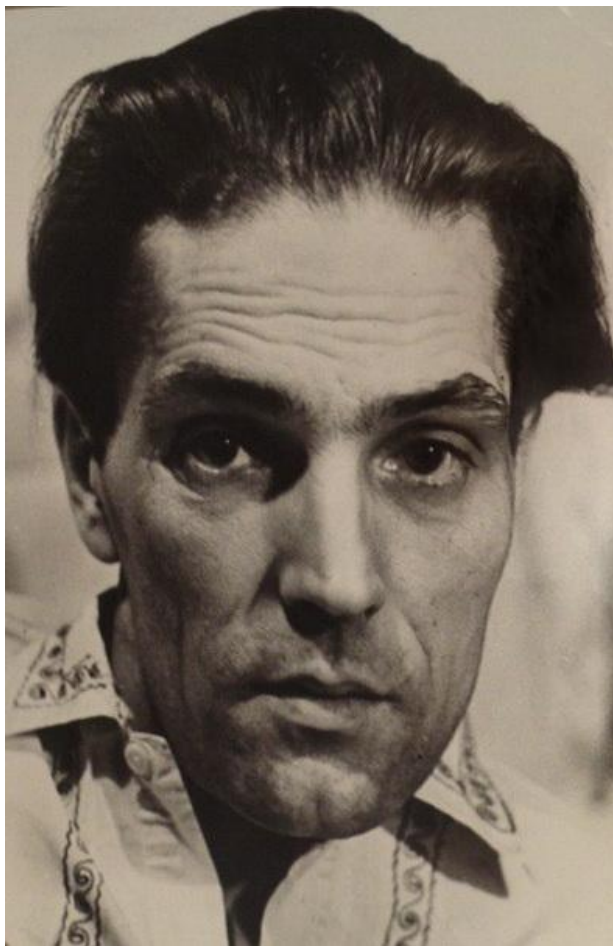
ООО «Сам Полиграфист»

129090 г. Москва, Протопоповский переулок д.6

E-mail: info@onebook.ru

www.onebook.ru

ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ



ВСЕ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ

автобиография

* * *

Невы и густы
Знобкие поляны -
Толые кусты
Зыбты и туманчы.

Над плакн = травой,
Над водой и мажам -
В синьке ветровой
Звёзды ворахами.

Полночь без луны,
Путь мой без дороги.
И кильвей вины,
Никакой тревоги.

1943 - 1980

Игорь Гуляев.